

---

---

Елена КРЮКОВА

# МУЗЫКА\*

## Опера

### ПАРТИТУРА

#### Действующие лица и исполнители:

*Ванда Гаевская, певица, сопрано — Ванда Гаевская*

*Злата Батрак, певица, сопрано/меццо-сопрано — Злата Батрак*

*Слава Гайдук, виолончелист — Слава Гайдук*

*Людська Рудова, пианистка — Людмила Рудова*

*Ева, пианистка — Елизавета Нагель*

*Людвиг, пианист и импровизатор — Людвиг*

*Шалевич, композитор — Шалевич*

*Галя из Курска, румяная певица, потом бродяжка на Курском вокзале —*

*Галя из Курска*

*Маргарита Федотова, пианистка, профессор консерватории —*

*Маргарита Федотова*

*Дергачев, человек из Кремля — Дергачев*

*Одинцова, певица Большого театра, мезцо-сопрано — Одинцова*

*Розен, органист, профессор консерватории — Розен*

*Юг (Усатый Сталин), богемный писатель, дворник — Юг*

*Янданэ, богемный художник, дворник — Янданэ*

### ДЕРЕВЯННЫЕ ДУХОВЫЕ

Семейство флейт, гобоев, кларнетов и фаготов. Еще — семейства саксофонов и сарюзофонов. Звук: дунешь в трубку, закроешь дырки, поет столб воздуха.

Язычковые, лабиальные — зачем мне это знать? Я должна сдать инструментоведение и получить зачет.

---

Елена Крюкова родилась в Самаре. Окончила Московскую государственную консерваторию (фортепиано, орган) и Литературный институт им. Горького. Член Союза писателей России. Член Творческого Союза художников России. Поэт, прозаик, искусствовед. Автор книг стихов и прозы («Юродивая», «Врата смерти», «Рай», «Беллона», «Тибетское Евангелие», «Солдат и Царь», «Побег», «Земля», «Хоспис», «Иерусалим», «Оборотень» и др.). Лауреат премии им. М. И. Цветаевой («Зимний собор», 2010), премии Za-Za Verlag («Танго в Париже», 2012, Германия), Кубка мира по русской поэзии (2012, Латвия), Международного славянского литературного форума «Золотой витязь» («Старые фотографии», 2014, «Солдат и Царь», 2016, «Вера», 2019), международных литературных премий им. И. А. Гончарова («Беллона», 2015), им. А. И. Куприна («Семья», 2016), им. Э. Хемингуэя («Беллона», 2017, Канада), Южно-Уральской премии («Старые фотографии», 2017), им. С. Т. Аксакова («Хоспис», 2019), ДИАС («Евразия», 2019), им. Ф. И. Тютчева («Созвездие Лебеда», 2020), им. Н. Н. Благова («Вера», 2021) и др. Публикуется в литературных журналах России и стран мира (Франция, Германия, Болгария, Украина, Беларусь, США, Канада). Создатель арт-проекта «Театр Елены Крюковой».

\* Журнальный вариант.

Оркестр. Все инструменты звучат. Пока они звучат — жизнь идет.  
Греми! Бесись! Взрываись! Режь себе грудь ножом, вены — бритвой! Все это музыка.  
А ты думала, музыка — это лежание в мягких подушках?!  
Плохо же ты думала о себе.  
Сухой конспект. Вся ярость — внутри.

\* \* \*

### **Flauto piccolo**

Флейта. Древность. Звонкое имя.  
Предок — фригийская флейта, двойная. Был еще авлос. Флейта косая, поперечная.  
В восемнадцатом веке все играли на флейте. Кому не лень. И кто мог купить себе эту дудку.  
Лютня, арфа, клавикорды и флейта. Таким ансамблем сопровождали спектакли.  
Флейта малая, piccolo, звучит октавой выше обычной флейты.  
Резкая, грубая, визжит. Как базарная баба. Я бы не хотела играть на такой.  
Есть еще альбизифон. Басовая флейта. Зубр и бизон среди флейт. Я ее никогда не видала.

*(Сидят едят, шведский стол около Кремля.)*

Там, далеко, все кануло. Все утонуло в зимнем дыму. В чужих снегах. Здесь все близко, безумно и жарко. Много мисок стоят в ряд. Дымятся. Надо выбрать, наложить на сиротские голые тарелки еду. Роскошна! Никогда, такие салаты... Постругано мелко, порезано ювелирно. Повар в колпаке — в облаках пара. Звон, звон. Звенят бокалами? А может, падают с запястий наручные часы и бьются, бьются? Да нет, это куранты.

Рослый монгол, а может, бурят каменно восседает напротив, косичка бежит по спине меж лопаток. Второй за столом — тоже высокий, каланча. Усы у него, как у Сталина. Девушка при них. Женщина, она хочет быть девушкой все равно, каждый день возвращаться назад, плевать ей на время. Глаза-лампочки. Косая челка. Снежная скатерть наброшена на плоскую, худую спину подобострастного стола. Нет времени! Нет, есть; оно просто бежит по белой скатерти очень быстро, как стыдный, преступный паук, что спустился на пыльной прозрачной нити с небеленого потолка. Рядом, в окне, Кремль. Он красный и страшный. Его башни, красные зубья, разгрызают время, знают его на вкус, кости его перемалывают, — а сами башни безвременны, их нельзя пристегнуть к ветру эпохи, к ветхому календарю.

Трое за столом. Монгол, а может, бурят встает и, чуть шатаясь, идет к раздатку. Шведский стол! Заплати в кассу смешную денежку — и сиди, пируй! Здесь вино не продают. Но можно тайком принести с собою, за пазухой. Усатый Сталин принес! Красное и сладкое.

— Девчонки такое любят!

Хитро смотрит. И штопор не забыл.

Есть счастье на земле.

Вина купить нельзя, а бокалы пустые взять можно: на столе, где пустые чашки для чая-кофе. Гигантские чаны с кипятком, не прикасайся, обожжешься. Вино, вино, пьем, пока молодые! Да в зале все пьют, и старики тоже. Времени ведь нет. Его убили. За это грех не выпить. Еле слышно, хрустально звенят куранты. Еще живые.

Монгол хватает поднос, по-цирковому подцепляет тарелки и блюда, его руки ловки и умелы, они живут и дышат сами по себе, а лицо его недвижно и медно, и даже зеленью веков чуть схвачено, как плесенью загара: бесстрастный Будда. Руки, отдель-

но от монгола, бросают на фарфор и фаянс зеленые и лиловые листья салата, белые ломти крабов, мясных червей бефстроганова, рыжие лапти котлет, румяный картофель фри, и даже, о чудо, блинчики: с творогом, с мясом, с вареньем. Маслом полить! Они давно не видели масла. Не нюхали его.

Шведский стол, как он появился? Как они о нем узнали? Человек — зверь, для него люди соорудили тайную кормушку. Под боком у Кремля, да это все равно. Монгол несет поднос на вытянутых руках, опять звон, в зале, за окном, в ушах. Звон, звон, стон, стон. Кто это стонет? Твой народ? Он что, болен?

Поднос брошен на стол. Скатерть собралась в морозные складки.

Поехала, поплыла снежной гармошкой.

— Налетай, люди! Где еще, когда еще...

Они приходят сюда не в первый раз. Может быть, в третий. Или в четвертый. Они не считали. Усатый Сталин наливает вино в узкие высокие бокалы. Вино капнуло на скатерть, пятно растет, расплзается. Жизнь, напротив, собирается, ее крошками со стола собирает в ладонь, в кулак некто невидимый и страшный, и не попросишь его о помощи.

Косая Челка берет бокал. Монгол садится, стул ножками громко процарапывает старинный паркет. Усатый Сталин нежно, осторожно вдвигает ножку бокала между длинных, как у музыканта, пальцев. Он не музыкант. Разнорабочий. И еще умеет тайком обращаться с холстом и кистью. Его картин не знает никто. А еще он тюкает на пишущей машинке разные слова. Слова складываются в печаль и горечь и пеплом оседают на мятых бумажных простынях. Усатый Сталин курит, а иногда шепотом ругается по-бурятски. Они оба, веселый монгол и мрачный усач, приехали в Москву из Улан-Удэ. Удэ, там рядом Китай. И Гоби. И золотой Очирдар сидит, скрестив голые ноги, в дацане в Иволге, и щурится, и лоснится его золотое, доброе и слепое лицо. Оно — небо: большое и незрячее. А люди только притворяются, что они видят и слышат.

Усач поднял бокал. Монгол поднял бокал. Косая Челка подняла бокал, все три бокала радостно содвинулись и издали небесный звон.

— Тише ударяй, разобьешь...

— На счастье!

— На счастье, дурак, повару за осколки заплатишь...

Смеялись. Зубы Косой Челки блестели в широкой улыбке. Жаль, она не видела себя в зеркале: зеркало маячило за спиной, во всю стену, — обернись, девка, ты сегодня так хороша.

— За что пьем?

— За все хорошее!

— А что у нас хорошего?

— Из дворников не гонят! Продержимся! еще немного.

— Люська, а может, ты в музыку свою вернешься? Зачем тебе поганая метла?

Жадно выпили. Сладко!

— Жить-то я должна. А то сдохну.

— Ну в ансамбль какой подайся! На радио, там! Во дворец, там, культуры!

Косая Челка быстро, как воду, допила вино. Первым опустел ее бокал. Она жадно глядела на темную, как густая кровь, бутылку. Этикетка грязная, вино отменное. Бутылку будто из земли выкопали.

— Экая ты быстрая!

— Янданэ, налей ей. Видишь, она трясется.

— Трясется? Пляска святого Витта? Ломка? На, не мучайся.

Монгол плеснул Косой Челке в бокал еще вина.

Играй на разбитых тарелках, бей бокалы, живи, коли можешь еще жить, башни стерегут тебя, башни берегут свой старый беззубый кирпич, краснота, красота, снег перед Кремлем, все мы умрем, а завтра зима, а сегодня ноябрь, холстина дырявая неба свернута в длинный рулон, никто не влюблен, время ломается хлебом, время меняют и швыряют на свалку, мы выросли из него, люди идут в дурацких колпаках, высокая мода дохлой кошкой валяется под красной кремлевской стеной, на головах кастрюли, в руках полярные песцы, купите шапку, очень недорого, купите пишмашинку, еще дешевле, это «Эрика» или «Рейнметалл», да без разницы, а это что у вас? яйца? да, десяток яиц! только из-под курицы? я сама курица! а где твой петух? гарь железных поездов, вспышки спящего света меж усов старых троллейбусов, Манеж — это просто золотой кулич, а Иван Великий просто сосулька, и с земли в небо свисает, идти в жесткой кожаной черной косухе и в диких красных резиновых сапогах, снятых с убитого на митинге парнишки, тоскливо жрать один раз в день, жарить картошку на гадком дешевом сале, получить бешеные, несчастные деньги за то, что метлой улицу метешь, а ломом неистово колешь железный лед, вчера ты музыкант, и музыка с тобой, сегодня инструмент твой отняли у тебя, а музыки стало еще больше, она вокруг тебя топчется, орет и плачет, льется смолой и черной кровью, клубится бензиновой ли, табачной гарью, заливает тебя талым рыдальным снегом, и еле успеваешь отгрести от рта, чтобы дышать, потоки ее: пена жемчужная, царской вышивкой, а вода страшнее грязи, люди идут, каблуки стучат, рты перекошены, слезы на бегу смахивает ветер, люди губы до крови кусают, кровь кулаком с подбородка утирают, им больно, у них на глазах убивают их время родное, а где царь, что отдал приказ время казнить? давайте мы лучше казним царя! а разве царей казнят? еще как казнят! лица горят, лица взрываются, шматки огня летят в стороны, уши военной ушанки мотаются на ветру, давно стреляли и сейчас стреляют, пули бессмертны, жизнь одна, как хлеб, а едоков тьма, — не поделишь, всех все равно не накормишь.

Косая Челка высоко, выше головы, подняла красный бокал, приблизила ко рту и выпила одним глотком, до дна, одна.

Усатый Сталин захлопал в ладоши.

— Ай да Люська, ай да с...а дочь! Консерваторочка! Так вот они, смелые пианисты!

— Жалко, рояля тут нет!

— И органа — нет!

— Да тут ничего нет.

— Брось, Янданэ! Тут — жратва есть! Жратва — это ж музыка!

— Да, брат, прав ты. Это — музыка! Давай дирижируй!

Навалились. Уминали бефстроганов. Ели, как жили. Жадно и быстро. Янданэ остановился, замер над котлетой.

— Ребята! Мы не едим, а жрем. Мы разве не в высшем обществе?

Оглянулись. За столами, накрытыми одинаковыми белыми скатертями, и уже позорно-грязными, уже запачканными, и презренно-нестиранными, а все некогда замученному неистовыми приказами персоналу, сидели люди, такие же, как они, и так же быстро, наскоком, дико ели. Лишь один человек ел медленно. Он сидел в дальнем углу, оттягивал локтями скатерть, собирая ее в нежные водяные складки. За столом сидел в пальто. Звать — никто. Неужели его как-то звали? Ему не нужно было имя. Пальто расстегнуто. Пуговицы разные. На локтях заплатки. Медленно человек всаживал вилку в мясо. Медленно, горько подносил ко рту. И жевал так, будто — молился.

Девушка на миг увидела его глаза.

И отвернулась.

Ее руки лежали на скатерти и дрожали. Пальцами она беззвучно играла на столе музыку, которую любила.

— Чертовщина. Янданэ, мы где?

— Югу больше не наливать. Мы в гостинице «Москва», на утреннем шведском столе, сам же нас сюда и затащил, а у меня с собой есть корвалол, могу в бокал накапать, мозги прочищает.

— Уж лучше нашатырь нюхнуть.

— Для тебя специально в кармане заведу.

— Уж лучше ручную белую мышку заведи, ха.

Косая Челка стыдилась своего вечного голода. За столом слышать было, как у нее громко, зверино урчало в животе.

— Ты ешь. Выпьем потом.

— Я ем, Янданэ.

— Я все смолотил! Наложил мне еще!

— Сам наложи, Юг, не безрукий.

Усач нехотя встал, стулом громко провез по паркету, долго наклонялся над стальными огромными мисками, выбирая. Половник мелькал, еда перетекала из кухонных емкостей на плоские озерные листья тарелок-кувшинок. Усач бухнул об стол поднос, поймал блеск широко расставленных подо лбом озер-глаз Косой Челки, усмешка покривила его тихие тонкие, под усами, губы, он задумчиво спросил, может, сам себя:

— И когда же мы, проглоты, нажремся?

Девушка и монгол смолчали.

Вина оставалось немного. Усач встряхнул бутылку, поднес к глазу, силился рассмотреть на просвет.

— Есть еще.

— Сорок капель?

— Побольше.

Монгол вынул у усатого Сталина бутылку из рук и разлил последнее.

Усач пододвинул по столу ближе, ближе к молчаливой Косой Челке тарелку с антрекотом.

— Кушай, поправляйся. Ножичек рядом! Режь на мелкие кусочки. Будешь вспоминать.

Люська смотрит на Усача, Усач на нее, они оба вспоминают, это нельзя словами и не нужно, Янданэ смотрит на них, потом опускает узкие щелки косых хитрых глаз в тарелку и уже не поднимает: пусть эти двое побудут за столом одни. Есть мир, его им сейчас не надо. Гляди, девчонка уже смеется! Усачу или сама себе? Она хохочет просто так. Нипочему. За стеной ресторана, где царит и дымится безумный шведский стол и сидят за столами нищие люди и богатые рядом, тесно-близко, и рядом, послушно и жадно, едят, и рядом слушают слабый, призрачный бой курантов за широким и грязным окном, — так же рядом, руку протяни, за высокими мутными стеклами и мощной кладкой старинного кирпича, идут люди; они идут всегда, идут и сегодня; лица, лица, лица, колышутся в мареве странного позднего осеннего дня, еще сухие листья на ветвях, а уже снег, ноябрь теперь или март, никто не знает, нет времени; ушанки, кепки, убитые норки, мертвые песцы на головах, на беспечных затылках, вон тот придет домой и повесится, завтра ведь нечего есть, брусчатка площади ложится под танцующие ноги, дырявые перчатки и голые руки, сапоги и опорки, телячья кожа и свиная щетина, бархат и мешковина, лица мелькают превыше одежд, лица молча поют, лица летят, они беззвучны, но их можно услышать. Если встать и замереть. Выйти на крыльцо ресторана. Слушать ветер. Люди бегут мимо. Ты доешь свою еду, наденешь еще теплое, родное пальто, выйдешь на ветер и тоже побежишь. Мимо.

Опять бьют куранты. Кремль бросает людям, как птицам, хлебные, нет, ледяные, хрустальные крошки незабвенной музыки. Ключ повернули в красной кирпичной шка-

тулке. Про что играет столичная музыка? Про новую нишу революцию? Про новые богатые пиры?

Громко закричала за окном резкая флейта. Флейта-пикколо!

Просто автомобиль. Просто гудок. И больше ничего.

Косая Челка старательно молола крепкими зубами жесткий антрекот. Утерла рот ладонью. Взяла бутылку, повертела. Вино закончилось.

— Закончилось.

Им всем было не грустно, а весело.

— Ребята, как Новый год!

— Только без елки.

Усатый Сталин глядел, как Косая Челка набрасывает себе на плечи вчера чужую, сегодня родную кожаную косуху.

— Уходишь? Так быстро?

— Замерзла.

Раскосое лицо монгола летело в лицо Люськи и разбивалось об него. Осколки летели в пол и в потолок, — нет, это ресторанное зеркало резво и страшно рассыпалось и все, разом, стеклянным водопадом осыпалось на паркет. Это куранты били и бились, трещины змеились по круглому стеклу, трескался стеклянный лик, сияла витая винтажная медь, хитро поблескивало старое властное золото, жизнь болела и выздоравливала, а потом внезапно умирала, по приказу и приговору, а времени все еще не было, все никак не было, нигде, — одна только звонкая, костяшками стучала, умалишенным ксилофоном билась, холодная зимняя музыка.

Ни за что не запомнить. Не спеть. Не повторить.

Трое людей все еще сидели за белой льдиной стола. Льдина плыла из будущего в прошлое. И люди вокруг них тоже покорно и долго за ледяными столами сидели; ели, шептали, плакали, умирали; и за дальним, забытым столом сидел человек в расстегнутом потертом пальто, подцеплял на вилку счастье, медленно выпивал из высокого хрустального бокала лютное горе.

<...>

\* \* \*

## Clarinetti

Ясный звук. Прозрачность. Нежность.

Кому нежности мало, есть кларнет. Моцарт его обожал.

Играли на нем соло. Играли в оркестре. Нежность далеко слышно.

Она перекроет все безумие.

Соло кларнета: оперы Вебера и Вагнера, симфонии Берлиоза и Чайковского, симфонические поэмы Листа.

За душу хватает. Шуберт, Брамс, Сибелиус, Рахманинов!

Голос кларнета — голос Божий. Ну, не Бога, так ангела Его, пускай.

Золотой, сияющий глас.

*(Явление певицы Златы. Ариозо.)*

Я тоже золотая! Внутри. Вся золотая, позолоченная... роскошная, великая. Я Злата. А с виду я черная галка. И очень худая. И правда, поглядеть в зеркало, там черная страшная птица. Время от времени я крашу черные косы в золотой цвет и закладываю корзиночкой на затылке. Как эта пищалка, кукла, слепуха. Не одной тебе, слепая визжалка, носить косы на затылке корзиночкой! Это красиво. Я пою красиво. Я уже на

четвертом курсе, и меня уже взяли на стажировку в Большой. Большой! Я твое будущее меццо. А может, я даже контральто; не знаю еще. Голос мой низкий, низкий. И я знаю: вести себя низко — это тоже нормально. Все ведут себя низко, если хотят преуспеть. Все это ложь, что человек должен быть честным, благородным, таким и сяким. Он не должен быть никаким. Он вообще ничего никому не должен.

Он ведет себя так, как считает нужным. Как надо вести себя здесь и сейчас.

Да, я завистница, да, я доносчица. Я мстительная! А не согрешишь — не покаешься! Не теплю, когда мне наступают на хвост! Я сама сочинила и первая подписала письмо властям — о том, как меня, талантливую Злату, подающую великие надежды, будущую гордость нашей родной сцены, гонят и травят! Я ходила с этим письмом по консерватории, по Большому театру, объездила квартиры всех знакомых профессоров. Я звонила в дверь. Спрашивали: кто там? Я громко отвечала: Злата! Мне удивленно открывали. Я протягивала вперед коробку с зефиром, или с тортом «Осенний лист», или с тортом «Прага», или с копченой осетриной, жертвоприношение испуганно брали, и прямо на пороге я вытаскивала из кармана короткой беличьей шубки письмо: подпишите! Из другого кармана вынимала заправленную чернилами авторучку. У меня все было продумано. Человек, стоявший на пороге, всегда был старше меня. Он растерянно приглаживал седые волосы ладонью и смущенно жевал губами. А что это, спрашивал он. Это письмо о гонениях на меня, гордо отвечала я! И бедный профессор покорно брал у меня из рук авторучку. И рисовал на письме корявую закорючку. И черной лягушкой расплывалась клякса.

Письмо я сама отвезла в Кремль. Я уже выступала на правительственных концертах. И в Кремль меня уже приглашали. А что такого. Я подходила к красноармейцу, автомат наперевес, ноги расставлены, смотрит угрюмо, вздергивала подбородок и надменно произносила: вот, передайте министру культуры Дергачеву! Как, самому Дергачеву, испуганно вопрошал солдат, автомат в руках его шевелился, как железный крокодильчик. Да, самому Дергачеву! А что? Дергачев делал мне намеки. И если бы я не была такой осторожной, я бы осмелилась. А так я только слушала старика пузана, голову наклоняла, вроде как соглашалась, ничего не делала, никаких резких движений. Есть такая мудрость: не делайте резких движений. Ну вот я и не делала.

Власть. Важные дядьки. Пышные приемы. Богато накрытые столы. Да что там, богатейшие столы; таких никто из нас не видел и никогда не увидит. А я вот уже увидела. Значит, кто я такая? Я уже в верхах общества. Я веду себя низко для того, чтобы оказаться наверху.

Берлогин — страшная старая, квадратная рожа. У него страшные мощные брови. Он шевелит ими, они как приклеенные. Дергачев рад, доволен, что зазвал меня на обед. Глядит на меня, как на главную тут фигуру. У него пузо вываливается из-под пиджака. На лацкане ослепительно сияет орден. Я не знаю какой, я в наградах не разбираюсь. Щелкает пальцами, и из-за спинок обитых бархатом кресел появляется моя аккомпаниаторша. Эта бездарь, рыжая концертмейстерша, дрянь. Ева. Изгнание из Рая, ха! Ева, где твой Адам? Собаки кости сожрали?! Ну должен же мне кто-то аккомпанировать. Не могу же я сама себе играть! Хотя я умею на рояле. Я и стихи читать умею. У меня всегда пятерка по актерскому мастерству.

А тут событие, вот еще, дурак, что ли, Дергачев совсем, на один такой богатый закрытый ужин он позвал двух наших придурков: Ванду и Славу! Чем они ему так приглянулись? Ему наврали: они хорошие музыканты. Ему набрехали: таланты! Что Дергачев, не знает, что ли, что я в консерватории — одна талант! Или талантка! Одна настоящая музыкантка! Все — поддельные! Они играют не музыку, они играют в му-

зыку. Я одна проживаю в музыке жизнь. Попробуйте проживите в музыке жизнь! Что?! Слабó?! Вот и я говорю. А не суйтесь!

Сначала выпустили на сцену меня. Ева уселась за рояль и долго вытирала потные ладони о свое жуткое платье. Рытый бархат, старый, потертый на сгибах, будто изъеденный молью. А может, и впрямь бабочка его пожрала. Унылая, жалкая Ева. И я стою у рояля — блестящая, гордая Злата, только вот горе, худая, как кочерга. Черт, на ужине этом буду жрать все что угодно! Сметать со столов! Мне надо поправляться! Мне и в Большом уже не раз намекали! А Дергачеву, кажется, все равно, худая я или толстая. Я вижу: он хочет меня. Женщина всегда это видит. Я женщина, но я еще девственница. Я свою невинность дорого продам. Я ее свято берегу. Вот для такого Дергачева. Или даже рангом повыше. А кто ж тут повыше? Сам Берлогин, что ли? А почему бы и нет? Залягу медведицей в роскошной берлоге. В Кремле.

Да! Кремль будет мой! Я вам обещаю!

Я спела песню Шуберта «К музыке». Потом арию Азучены Верди: пламя взлетает светом суровым! У меня голос наполнялся гневом и ужасом. Я всегда перевоплощаюсь, когда пою. И в то же время мой разум остается холодным, я четко все вижу, ясно все слышу, будто бы сверху на себя и публику гляжу. Это самое хорошее состояние артиста. Ты все видишь, все знаешь и в то же время ты притворяешься, что плачешь, любишь, переживаешь! Пушкин вроде писал об этом. Лед и пламя. Не помню где. Вроде в «Евгении Онегине». Мне с трудом натянули четверку по литературе, когда я в консерваторию поступала. Дергачев позвонил в приемную комиссию и промурчал в трубку: вы там поосторожней с моей протее! А кто протее ваша, спросили его. А он гордо сказал: дочка генерала Батрака! Он войну прошел! Он мой приятель! Вы поняли, осторожней! В комиссии, представляю, завияляли хвостами. На экзамене я неслась чушь, а не меня смотрели как на божество.

Злата Батрак! Она еще прогремит! Везде прорвется!

После Азучены я спела Гадание Марфы из «Хованщины», Мусоргского слушали так печально, как на похоронах, и я решила спеть «Эх вы, кони, кони-звери». Кони-звери, эх! Черные да серы, черные да серы, черные да серы, да медвежий мех! Вот тут все за столами стали хлопать, кто-то прищелкивал пальцами, кто-то пьяно скалился из-за бокалов. Когда я кончила петь, мне недуром заорали: bravo-o-o-o-o! А я стояла у рояля гордо и не кланялась. Принимала эти вопли как должное. Я знала: у меня таких истошных восторженных воплей еще много будет в жизни. Еще целые громадные залы падут к моим ногам! Не то что этот зальчик, вкусный-ароматный, сплошное объедение, стол на пятьдесят персон!

Сквозь гул и грохот посуды, литавр и барабанов прорезался одинокий кларнет. Он жаловался мне на жизнь. Ах, я бы ему пожаловалась, да я гордая. Мне нельзя.

Я слегка наклонила голову, так я благодарила моих слушателей, кремлевских толстых важных дядек, и медленно поплыла от рояля на свое место — Дергачев уже бил ладонью по алому бархату моего кресла. Рядом с ним, да. Оно было свободно. Оно ждало меня.

А к роялю медленно, так же медленно, как я уходила прочь от музыки, поковыляла слепая Ванда, эта ночная сова. В Афганистане ее подранили. Ну и распрощалась она со зрением. А голосишко остался. Разве это голос? А ведь держат в консерватории! Жалеют! Афганская калека! Грудью выкармливают! Еще, глядишь, и в Большой возьмут! Ну, если возьмут, я поставлю перед Дергачевым вопрос ребром. На кой Большому эта слепощарая кротиха? На сцену ее — за ручку выводить?! Или я, или она!

Ванда осторожно, как на льдину в ледоход, встала в выгиб рояля, Слава подтащил стул, уселся, всунул виолончель между широко расставленных ног. Ева положила руки



на клавиши. Как я ненавидела в этот миг всех троих! Они отнимали у меня почетную музыку и кремлевскую славу.

Они вздохнули все втроем, хором вздохнули и завели эту унылую шарманку, «Элегию» Массне. Виолончель пела, надрывалась, а Ванде казалось, что она тоже поет. Ева ползала пальцами по черным и белым зубам клавиш, рояль здесь, в этом тайном ресторанном зале Кремля, стоял препоганый, однако делать было нечего, музыку надо было из него извлекать, на потеху правителям, китам и бегемотам. Музыка плыла по залу, забиралась под кресла, пробиралась за пазухи, салаты пахли одуряюще, и я зверски, просто волчья хотела есть, но кто же жрет, когда музыка звучит, и я видела, что да, кто-то и ест беззастенчиво, нагло и смачно, и причмокивает, и опять запускает ложку в салатницу, подцепляет на вилку крабов, лучше крабьей музыки, верно, только икорная, так я думаю. А странно! Я обвела зал глазами, и тут до меня дошло: тут одни мужики, дядьки одни, хоть бы одна бабенка тут торчала, женщин тут нет, да и не будет, никто уже не придет бабьего рода, и, видать, я, Ева и Ванда тут одни девушки, смазливые консерваторочки, и дурак, скоморох, сушеный горох, талантище Слава, при нас. Боже! Как я жрать хотела! Как из пушки!

Я, дочь генерала... или — батрака?..

Как это у Мусоргского: он был титулярный советник... она — генеральская дочь...

А ты помнишь, как там дальше?

Он робко в любви объяснился... она... прогнала его прочь... Пошел титулярный советник... и... и... ну давай вспоминай...

Слепая Ванда поводила в воздухе руками. Один куплет «Элегии» она спела по-французски, ну, в честь Массне, другой по-русски, чтобы все поняли, о чем заунывная песня. Под похоронную музыку жадно ел уже весь стол. Я же сидела, выпрямив спину и вытянув шею, потому что эта сволочь Ева, за дребезжащим роялем, зло косилась на меня.

Слава мотал головой, с его лба разбрызгивались капли пота. Жара стояла в пиршественном зале. А Ванда что? А Ванда ничего. Пела, закидывая лицо к потолку. Она же слепая. Что с нее взять.

...И пьянствовал целую ночь...

И в винном тумане носилась пред ним... генеральская... дочь...

Я опустила голову. Я будто видела себя со стороны. Сидит худая черноволосая девушка, согнула гибкую тощую, певчую шейку над тарелкой. И слушает. Напряженно, тоскливо слушает, когда же, где же зазвучит единственный кларнет.

Нет. Не пел кларнет. И продолжался обед.

Этот тягостный Массне закончился когда-нибудь. И этот Верди. И этот Мусоргский. И этот Пуччини. И эта проклятая Славкина виолончель перестала стонать. Они, все трое, подошли к столу. Их рассадили. Они все уселись в разных концах стола. Все оживились, стали лопотать, хохотать, пытаться накормить музыкантов, угостить покуснее. Черт, они же прекрасно понимают, что мы бедняки! Что ты врешь, генеральская дочь! Они — бедняки, а ты — богачка! Что ты опять врешь. Твой богатый отец на том свете. А ты — на этом. А разве на свете дело в еде? О! еще как в еде! всегда и всюду — в еде! Ты есть то, что ты ешь... где я вычитала эту якобы мудрую фразу?

Мне на тарелку подложил крабовый салат Дергачев. И ближе пододвинул розетку с осетровой икрой. Крабы отсвечивали красным. Морской кровью.

— Откушай, прелестница, — заворковал он, как голубь. — После ужина... поедем со мной?

И тут меня такое зло разобрало, просто страх!

И я наклонила голову и сказала ледяным голосом:

— Да.

Эти трое, наши придурки, ничего не слышали. Да им было все равно. Слава уплетал говяжий язык за троих. Пальцами выковыривал устриц из их чертовых треугольных ракушек. Ева жадно пила из бокала — то ли сок, то ли вино. Если вино, скоро накачается, подумала я презрительно. Ванда слепо шарила руками по столу. Нащупывала вилки, ложки, тарелки. Ей никто не помогал. Она накладывала себе еду сама. Иногда мимо блюда, на скатерть.

Ножи и вилки в руках жрущих гремели, как кости.  
Как ксилофон в оркестре. <...>

\* \* \*

### **Fagotti**

Узел. Пучок. Вязанка.

На фаготе первым играл каноник из Феррары Афранио дель Альбонези. Бомбарда, дульциан. Это родня. Дульциан — сладкий. Бомбарда — убийственная. Вот так вся музыка: то сладость, то гибель.

И ничего нельзя изменить.

А только играть и слушать, слушать и играть.

Жан Батист Люлли писал трио: два гобоя и фагот. Как это красиво, не передать.

Я записи слушала.

Где вся эта музыка дивная? Где эти ноты, эти люди?

Сколько музыки погубило в закутках времен. А сколько еще умрет.

А какая-то ведь остается жива.

Моя? Не моя?

Она вся ничья. Она — свобода.

*(Галя-курайка, ученица Златы. Поет в церкви. Кричит, погибая.)*

Первый курс, а бойкая: разнюхала, что рядом с консерваторией церковка-малютка, раньше тот переулочек назывался, старые люди шепчут, Брюсовым переулком, и там певчие на клирос нужны, а куда деваться, службы-то идут, значит, и петть на службах кому-то надо. Ангелам Божиим? Эй, как тебя, все забываю... Да Галя я, Галя, простое у меня имя! Да уж, проще некуда. Галина! Ты, матушка, шире рот-то разевай! А то я тебе между зубов — щепку вставлю! Какую такую щепку, Злата Павловна? Все такую! Настоящую! Из доски настрогаю щепок и буду тебе в зубы вставлять! А чтобы ты рот не закрывала!

А это... зачем... такое истязание?

Истязание?! Ха, ха! Да это же прием такой учебный! Способ такой! ну, чтобы ученик пошире рот раскрывал — и, главное, его не закрывал! Чтобы связки смыкались, а пасть твоя распахнута была, и звук вольно наружу летел, свободно, нигде не застревающая! Маска маской, а глотка глоткой! Глотку разинуть — этот фокус еще никто не отменял! Меня так — моя великая Одинцова учила!

Ой... вы у Одинцовой учились...

Да я и сейчас у нее учусь! Продолжаю! Она меня привлекает! А я — не теряю ее из виду! Более того! Мы с ней сейчас вместе — в Большом поем! Ты-то, Галина, хоть знаешь, что я в Большом пою?!

Ой... в Большом... да... конечно... да... знаю...

Знаешь, но забыла? Ха-ха-ха! Ну ведь вспомнила! На, держи щепку! Между передних зубов втыкай!

Так?... сюда?..

Да, да! Между резцами! Воткнула?! Ну, валяй распевку! Первую! А-а-а-а-а! На «о» со щепкой не споешь! Только одна «а» тебе и остается!

А-а-а-а-а!

Так, теперь полтона выше! А-а-а-а-а!

А-а-а-а-а...

Что так вяло?! Ты воительница! Ты Валькирия! Это твой победный клич! Ты Далила, а не вареный хек серебристый! По сорок восемь копеек! Не навага жареная! Давай! Вперед! А-а-а-а-а!

Церковь, она очень маленькая. Слишком маленькая, чтобы ее Богу можно было безоговорочно верить. Слишком крошечная, чтобы ее заметили и взорвали, как все их взрывали. Взрывали, взрываем и еще будем взрывать. Вы разве не знаете: Бог — опьянение? Прельщение? Ай-яй-яй! Не знаете! Вы государственный экзамен, душечка, не сдадите по самой великой общественной науке; ее изобрел и развил гений, гений всех времен и народов, с большою бородой, а потом пришел еще один гений, с маленькою бородкой, и великий факел из рук великого бородача смело подхватил. Вот она, истинная музыка! Музыка истории! Музыка времен! А то, что вы поете, разве это музыка! Так! Баловство!

...Они робко переступали порог. Боясь. Пугаясь. Вздрагивая на каждый стук, на шорох. Священник выходил им навстречу. Шел на них выгнутым под рясой, как днище крепкой перевернутой ладьи, животом. Чрево, пузо, смутно думала Галя, его бы к нам в деревню, в поле, на страду. Быстро бы живот пропал, а щеки загорели. Распахивал руки, как для объятия. Потом бессильно ронял их, и они висели вдоль тела, как толстые канаты. Священник вкладывал им в руки ноты. Иногда это делал за него маленький тщедушный человечек в обдерганном пиджачишке, регент. Злата и Галя взбирались на скамьи. За ними на скамьи лезли другие певички, сыпались живым горохом. Замирали. Регент смотрел на девиц снизу вверх. Морщился, будто съел лимон. Взмахивал руками. Хористки дружно вдыхали воздух и выдыхали музыку:

— Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша!

Музыка поднимала. Злата чуяла: крылья есть. Галя дрожала: ноги отделялись от скамейки. Обе стояли, пели антифон, но будто висели в воздухе. Подвешены за незримые крепкие нитки, нитки привязаны к дощечке, дощечку держит в руках Тот, о Ком все время говорит дородный батюшка. Однажды Галя так спросила батюшку: а Бог, Он что, дает свободу? Или Он всем-всем господин? Ой, не господин, сейчас у нас господ ведь нет, ну тогда... всем начальник? Священник опустил голову и долго, молча глядел на свой толстый живот. Бог — это не красный комиссар, тихо ответил он молоденькой певичке. Бог — да, свобода. А почему же Бог назначает правила, дрожа, дальше спрашивала Галя. Почему надо поститься? Почему надо молиться вот такими словами? А другими нельзя? Почему запрещены мирские увеселения? А театр — это мирское увеселение? А если я хочу выучиться на певицу и петь в оперном театре?

Выучивайся, тихо отвечал священник, кто тебе не велит. Ты сделала выбор. Человек всегда делает выбор. Выбор человеку разрешил делать Бог. А Бог — это не догма, не приказ. Бог — Он живой. Он пострадал за всех нас. Ты знаешь, как Он пострадал?

Священник поднял руку и показал на вырезанное из картона и аляповато расписанное темперой Распятие. Картонное расписное Распятие стояло в темном углу храма. В изножье Креста сбились в кучку живые, в горшках, и бумажные, перевязанные проволокой и атласными лентами цветы. Галя повела глазами. Рядом из мрака светилась ликом икона. У Божией Матери глаза были громадные и длинные, как миндальные

орехи. А рот крошечный, птичий. Она глядела так, что Гале хотелось заплакать и чтобы слезы не кончались никогда.

— Она все знала про Сына, — сказал священник. — И вообще все знала про все. И про всех. И Он тоже знал. Они оба знали. И все же Он пошел на смерть. Ты зачем приходишь во храм?

— Петь, — прошептала Галя.

— Просто — петь? А деньги?

После каждой службы батюшка протягивал Злате и Гале то три рубля, то пять рублей. Зеленая трешка, синяя пятерка. Целое состояние для бедного студента.

— Да. Мы зарабатываем деньги. А что, — она вдруг осмелела, — это Богом запрещено?

— Нет. — Священник еле заметно улыбнулся. — Не запрещено. Живите и выживайте. Плодитесь и... размножайтесь...

Тут Галя уже не поняла.

Злата стояла поодаль, во тьме храма, и нюхала теплый ладанный воздух.

Они обе, напивлив шубейки, выходили в круговерть метели. Звезды метели ослепляли и обжигали. Они шли сквозь метель рядом, не касаясь друг друга, а Гале казалось — они идут, взявшись за руки. Никогда Злата не будет ей подругой! Злата уже великая! А Галька кто? Деревенщина! Вам на автобус, Злата Павловна, вот остановка! Злата хитро косилась на Галю. А давай на «ты»! Ой, я не могу, Злата Павловна! Вы такая важная!

Обе мерзли на остановке. Топали ногами, чтобы согреться. Злата цедила: какая холоднющая зима, как военная. Автобус шуршал шинами возле, и лишь тогда Злата брала Галю за руку и пожимала ее руку в деревенской бабкиной колючей варежке. Пока-пока! Пока-пока, обезьяньи бормотала Галя, а Злата впрыгивала в автобус, и двери запахивались гармошкой, как меха баяна.

Автобус отплывал от сиротьей остановки, Галя все смотрела на Злату в разрисованном морозом окне. Знаменитая, а такая простая! Вот бы мне такой стать! Когда-нибудь!

От ректората надо было тщательно скрывать, что они поют в церкви. Им уже сделали предупреждение. Да еще и подчеркнули: второй раз не предупреждаем. Галину исключим, Злату выгоним.

Злата презрительно корчила рожи: пусть попробуют! У меня — в Кремле покровители!

Все знали, что она любовница Дергачева.

Однажды они обе явились в храм, а служба не шла; а народу было много, и все толпились, и жались друг к другу, и обнимались, и многие плакали. К ним вразвалку подошел диакон. Что тут происходит, спросила Злата холодными губами. Диакон закрыл лицо руками. Когда он отнял ладони от лица, обе девушки поразились: в его глазах, как в двух колодцах, стояла чернота. Отца Варсонофия убили, сказал он, и голос его ломался и растрескивался, как кусок слюды. Как? Галя утратила речь. Диакон тихо шептал, будто кто-то мог услышать: топором зарубили, в лесу, когда по грибы пошел. А потом пришли в дом и всю семью зарубили, попадью и детишек. Они орали, в поселке слышали. Думали — радио громко включили, какой страшный спектакль по радио слушают. Потом прибежали — все в крови, даже на порог кровь пролилась. А потом и отца Варсонофия в лесу нашли. Неподалеку. Недалеко он за грибами ушел.

Галя слушала, а вроде как не слышала. Ее рот сам спросил, за нее:

— А детей-то за что?

Диакон взял ее за плечо и сжал ей плечо. Крепко, больно.

— За то, что это — ненависть. Ненавидящий должен убрать того, кого ненавидит, с лица земли.

— А как же...

Она хотела спросить: а как же Бог? Ведь Он говорил о любви.

Диакон понял.

— Бога тоже убили. Ты же видишь. Как человека. И всех мучеников убивают. Всех, кто носит в себе любовь. И они умирают, — он дернул кадыком и сглотнул, — во имя Христа.

Другой батюшка, Галя видела его здесь в первый раз, вышел в круг света посреди церкви. Люди утихли и смотрели на него.

Батюшка долго говорил, и опять все стали рыдать. Галя пыталась расслышать и не слышала. Она слышала звуки и не понимала смысла. Слушала как страшную музыку.

Злата стояла и молчала. Она тоже знала кое-что про смерть.

Она не крестилась: а вдруг в храме тут, рядом, стоят соглядатаи? Только подняла руку и прижала ладонь к своему уродскому шраму на щеке.

Обе вернулись домой: Галя — в тесную комнатенку общежития, Злата — в высотку на Котельнической набережной. И обе стали думать о Боге.

Злата думала: разве Бог — царь надо всеми? Говорят, что Он царь. Но как же так вышло, что этот царь, полный любви к миру и к людям, так страшно обустроил Свой мир? Зачем в мире войны? Зачем убийства? пытки, издевательства? Ну ладно, это все творит человек человеку; а зачем чума, холера, оспа, сибирская язва, тиф? Хвори, напасти, от них гибнет полземли? Смерть, где твое жало, Ад, где твоя победа, так радостно кричал отец Варсонофий однажды в Пасху, после пасхальной службы, и поднимал руки к церковному куполу, как к ясному звездному небу; значит, смерть — главный враг? Тогда что же смотрит Великий Всеобщий Царь? Если Он всеобщий властелин, зачем Он разрешает быть на земле этому всему? И главное, огромным смертям: болезням, войнам? Война! Вот была война. Была и сплыла. Да на какой же войне погиб бедный отец Варсонофий и все его бедное семейство! Да кто ж ее развязал! А никто. Явились злые люди и убили всех. Кто же такие злые люди? Кто плеснул ей в лицо кислотой? Злые люди — это воплощенное зло. Ну, ясно, а зло, зло-то откуда? Зло-то. Злата. А разве ты, Злата Павловна, не хотела бы стереть к едрене-фене, с лица земли, слепую Ванду, чудо-певицу?! А-а-а-а?! Давай честно! Честной будь перед собой!

И она отвечала себе, тихо, вслух, с ужасом: да, хотела бы.

Значит, Бог не такой уж всевластный Царь! Значит, зло сильнее Бога! И у Бога ничего нельзя вымолить! Ни жизни себе, ни радости близким! И ничего, вот ужас, ничего нельзя отмолить! Исповедь, покаяние, кайся, грешница, не согрешишь — не покаешься, над тобой батюшка шепчет умиротворенно, прикрыв тебе темечко епитрахилью. И что? Это оказываются всего лишь выдуманные, для обряда, человеческие слова. Жалкие слова. А лучше музыки ведь нет. Нет ее сильнее. Она без слов тебе все скажет. И без слов тебя простит. Мелодией, песней. Слезами! А тут ты что? Опять согрешишь — и опять на исповедь побежишь? И так бесконечно? Вечно — так?!

Кто найдет этих гадов, кто убил священника и его семью? Кто их накажет? Не верю, что найдут и накажут! Если за ними стоят большие деньги или большие люди — не найдут и не накажут! Вот жил-был один человек. Просто батюшка в церкви. В московском маленьком храме. Ездил на службы из пригорода. Где он жил? В Малаховке? В Болшеве? В Купавне? А кому-то, видать, дорогу перешел. А может, за ним всю жизнь следили. И доследились. И убили. И это была смерть на войне. На его войне.

На войне Бога — с кем? С дьяволом?

Вот мой шрам на щеке, на скуле, поближе к виску. Он мне на всю жизнь. Я петь с ним буду. Пить с ним буду, гулять, любить. Спать и просыпаться. И детей рожать с ним буду. Если буду. И дети вырастут и спросят меня, пальцем показывая: мама, а это что за отметина у тебя на щеке? И что я им скажу? Что Бог так отметил меня? Выделил из всех? Что я так пострадала за любовь свою? Что лучше наврать? А если правду сказать? Что ты, чтобы хорошо жить, закрутила шашни с министром, а его жена тебе в морду кислотой плеснула? Дети выслушают эту мою исповедь, и что? Головы опустят и будут так стоять? Плакать? Смеяться? Надо мной смеяться?! Презирать меня... Пальцами на меня показывать? А может, бросятся ко мне, обнимут меня, закричат: мамочка, мамочка, ты только не плачь! Это злые люди с тобой сделали!

Злые люди... злые люди...

Не слишком ли много злых людей на земле? Откуда они берутся?

Разве они, злые, тоже часть Бога?

Я стояла в церкви, пела, а иногда взглядывала вверх. На потолок. Под купол. Там на меня и на всех нас сверху глядело лицо. Крупное, с круглыми грозными огромными, как планеты, глазами, лицо Бога. Круглая громадная голова. Тоже планета. И катится в небесах. А вокруг Него маленькие планетки, спутники: херувимы, серафимы. Летят! И Он летит. Парит. Царь надо всеми. Как это говорил убитый отец Варсонофий: Христос Пантократор. Пантократор — это значит Всемирный Владыка. Что ж Ты, Владыка, не уберег малого слугу Твоего, что так верно и преданно служил Тебе?

Или как это, ну, про мучеников... они почитаемы, любимы, и стать мучеником — это уже наверняка на небе оказаться, рядом с Богом... вот и смерть мученика священнику послали, чтобы он — к этим крылатым, под куполом летящим — приобщился?

Дорогую же цену человек платит за потустороннюю радость свою. Слишком дорогую!

Чума и холера, войны и пытки, обманы и ненависть, подлоги и убийства — все это, так выходит, наша постоянная плата за то, чтобы там, на небесах, сесть рядом с Богом?!

А ты, ты хочешь так?! Или ты хочешь жить... жить и только жить... и петь...

Галя думала: всемирной радости быть никогда не может. Освободиться от кандалов горя нельзя. Сбросишь одни кандалы — а тут подскочат, нацепят на тебя новые! Вот все говорят о войне. Ну вот она была, последняя война! С фашистом! И сколько лет прошло! Сколько бы ни прошло, а все военным людям мало. Они новой хотят. А наша страна? Хочет ли наш народ войны? Да кого ни спроси — никто не желает! У них в деревне вон сколько народу на войне сгибло! Ее батька чудом жив остался. Гальку зародил. И вот Галька родилась. Галька-певица. О чем ты споешь, Галька, когда как следует выучишься петь? О друзьях батьки твоего, что там остались лежать, в родной земле, в чужой? А придут новые люди, на земле народятся. И опять будет война, и лягут в землю. Вот против этого бы песню спеть! Да такую, чтобы ненависть навек остановила!

Нет. Несбыточная это мечта, Галька, в такие мечты и не суйся. Кто ты такая, чтобы о таких важных вещах думать? Ты думай о чем-нибудь простом. Вот о том, что здесь, в комнатенке, надо бы паркет подмести. А потом натереть вонючей мастикой. В военторге купить. Там хорошую продают, оранжевую и сильно масляную.

А все же Бог, ну, как Его рисуют на иконах, красивый и добрый. У Него такое доброе и печальное лицо. Война, мир, да не все ли равно. Он-то все знает и про мир, и про войну и на нас сверху смотрит как на несмышленьшей. Как на цыплят, на кур в сараюшке. А может, это только на нашей земле все вот так? Так ужасно? Может, там, на других планетах, на Луне, на Венере, все не так страшно? Вот на Марсе, говорят, есть жизнь. Да все равно, где она есть. Важно, что — есть. Нам, мне и Злате Павловне, батюшка говорил: вы думаете, что вы свою жизнь строите, а это вам все ведь Бог устроит. Так смешно и говорил: устроит. Значит, мы в нашей жизни, сами для себя, ниче-

го не значим? Нас много, кур в курятнике, а Бог один. Нас вроде как множество, стадо такое необъятное, миллионы людей на земле, миллиарды, а Бог у нас один пастух. Трудно Ему! А может, Он и не за всеми наблюдает! Не успевает! Батюшка говорил: потеряли вы все, люди, страх Божий! Да, так прямо и говорил: страх потеряли! А я слушаю и думаю: ну зачем страх-то? Страх-то тут при чем? Бог — это любовь и радость вроде бы, а не страх. Зачем тут страх-то приплетать? Только я его об этом не спрашивала, батюшку. А то рассердился бы. И наорал бы на меня. Я никогда не слышала, как он орал. Всегда тихо говорил. Но что-то такое я в нем чувствовала: если что обидное ему против Бога сказать, он может на тебя и собаку спустить. Такое в человеке всегда чувствуется, даже если он тихоня.

Неужели наш мир так низко пал, что мы уже не можем, не сможем без Бога? Сначала церкви взрывали, жгли и разбивали молотами и кувалдами, а теперь вот опять в них молиться разрешили. Я, когда вхожу в церковь, крещусь, а Злата Павловна не крестится. Просто переступит порог, и все. И глядит так мрачно. За полгода она еще больше похудела. Истошала вся, сделалась как швабра. Но ей слова не скажи. Так обрежет — всю жизнь помнить будешь.

Только к роялю встаю, рот разеваю, и еще мне между зубов щепку всовывают. Якобы какая-то итальянская школа. Так думаю, никакая это не Италия. А просто издевательство. Изгаляется человек над человеком. Ну мы ж привыкли друг друга пытаться. Вот и пытаем, чем можем.

В той толпе, в храме, может, и правда кто толкался, ректорский шпион. Галю вызвали в ректорат. Она вышла из массивной, с лепниной, двери через час, краснее помидора, прислонилась лбом к стене и так стояла. Все шли и бежали мимо нее, кричали, гомонили, опаздывали: на лекции, на семинары. Она все стояла.

Потом тихо, медленно сползла по стене, подгибая колени, скользя ладонями по извеске.

Сидела на корточках у стены. Лицом к стене.

Кто-то бросился: эй, тебе плохо?! Кто-то уже поднимал Галю под мышки. Кто-то кричал: в медпункт скорее, доктор на месте!

В медпункте сидела врач-фониатр, Тамара Степановна, необъятная, как грозовая туча. Ах, Галенька, связочки пришли исследовать?.. смыкаются ли?.. ах, сейчас, присаживайтесь... Студенты усадили Галю на табурет. Она послушно села и молча стала падать. Ее поймали. Она перестала видеть и слышать. Очнулась, когда ее били по щекам и вливали в рот из мензурки горькую гадость. Галя, Галя, что с тобой?!

— Меня исключили, — сказала она тихо и внятно.

— За что?! За что, прости Господи?! Черт возьми! Тихоню такую! Мышку!

— За батюшку, — тихо сказала Галя. — За церковь.

— За какого батюшку?! За какую церковь?!

— Она в церкви поет, Тамара Степановна, денежку зарабатывает.

— Она бедная, деревенская. Ей деньги нужны.

— Ах, ну написала бы заявление на материальную помощь! Что, консерватория не помогла бы? Помогла бы! У нас страна таким, из деревни, всегда помогает! И помогала!

Галя тихо сидела на врачебном, обтянутом белым дерматином табурете, всунув тесно сложенные ладони между коленей.

— Исключили! А где же ты теперь будешь жить?

— Не знаю.

Она хотела вернуться домой. Потом сказала себе: это поражение. А я хочу победы. Я хочу сделать то, что хочу. Остаться в Москве.

Попроситься жить к кому-то? К пианистке Еве? Она в общежитии. К слепой Ванде? Она в общежитии. К Люське Рудовой? Она в общежитии. Да все в общежитии. Полконсерватории в общежитии. К Славе Гайдуку? Он москвич, да, но какое семейство пустят в дом, где парень, девчонку жить? К Злате... Павловне? О, да, она в отдельной квартирке своей. На Котельнической. В роскошной высотке. Там члены правительства живут. Спросить ее, по крайней мере. За спрос денег не берут. А как она ответит? А пес ее знает. Может, и никак. Пожмет плечами, и все. За ней такое водится. Уйти от ответа.

Очень хотелось есть. По бульвару она выбрела на проспект. Июньская зелень нежно обнимала деревья. От проезжей части неслась тусклый, тревожный гул, тремоло струнных. Облака в выси беззвучно звенели друг об дружку, фарфоровые, стеклянные. В облаках шел пир. Бог праздновал Свой праздник, неведомый людям. Лето, счастье. У кого счастье, а у нее горе. Ребята хлопали ее по плечу: ерунда, восстановят! Восстанавливают только церкви. И памятники. И разрушенные в войну заводы и фабрики. Судьбу не восстановишь.

Судьбу если сломали, то навсегда.

Она встала в очередь в кафе. Гигантская, сумасшедшая очередь. Люди в ней тосковали, переминались, читали книги, шуршали газетами; старухи вязали; дети играли, возились у ног взрослых на грязном асфальте — с куклами, с машинками. Сколько времени прошло? Час, два, больше? Время застыло и заледенело. Когда подошел Галин черед забрасывать ногу через порог, она зацепилась за порог ногой и упала.

Ее подняли сильные руки.

— Ах, девушка, ну нельзя же так.

Галя стукнулась головой о порог и разбила себе лоб. Вздучалась шишка.

Они вошли в кафе нога в ногу с человеком, поднявшим ее с полу; он поддерживал ее под локоть. Мужчина провел ее к свободному столику, усадил и сказал:

— Сидите, ждите, я сейчас платок в холодной воде намочу.

Принес мокрый платок. Прижимал к ее лбу. Галя улыбалась смущенно и благодарно.

— Спасибо, ну что вы, ну господи-боже-ты-мой, какие глупости, со мной возитесь.

— Вы с юга? У вас выговор южный. Хосподи, хлупости.

— Я с Курска.

— Из Курска, так надо говорить.

Обед стоил рубль. Человек заказал два обеда, Галя попыталась что-то сказать возмущенное, он махнул на нее рукой, как на надоедливую муху.

— Бросьте! Это копейки. Какой у вас звучный голос!

— Я певица, — гордо сказала Галя.

— Певица? Какая прелесть! И где вы поете?

Официантка зло шлепала с подноса на стол щи, котлеты с картошкой, капустные салаты, чай в граненых стаканах.

Галя опустила голову. Голый пластмассовый стол блестел, как роскошная слоновая кость.

— Сейчас уже нигде.

— А где пели?

Они ели и пили, и Галя рассказывала, будто печальную арию пела. Слезы текли по ее щекам, и она неприлично, по-собачьи слизывала их языком. Мужчина слушал. Галя втихаря разглядывала его. Молодой, смазливый, до синевы выбрит, волос черный, глаза огонь, и голос красивый, приятный вкрадчивый баритон.

— Хотите, поедem ко мне домой? Я по-хорошему. Не надо сразу думать о плохом.

Галя стиснула на коленях, под столом, потные руки.



— Нет!  
— Понял. Не пристаю. Хотя вы это зря. Я бы вас не укусил. И не съел. Но на нет и суда нет. Тогда другой вариант. Поехали к моей подруге?  
— К вашей... подруге?  
— Не бойтесь! Это не моя невеста и не моя любимая. Это просто моя старая подруга. Она и на самом деле старая. — Усмехнулся. — Ну не древняя старуха, конечно. Но жизнь пропахала по-пластунски. Едем?

Вышли из кафе на улицу. Ветер мял зелень в теплых пальцах. Проспект гудел, иногда вскрикивал клаксонами, говор людей издали казался чириканьем птиц. Галя думала: будут трястись в метро. Но баритон распахнул перед нею дверцу автомобиля.

— Прошу.  
Галя робко села, зайчишкой приподняла мордочку и пролепетала испуганно:  
— А вы меня... никуда, это... не завезете?  
— Не завезу. — Он рассмеялся. — Я не Франкенштейн.  
— Фран-ке...  
— Бросьте. Расслабьтесь. Давай на «ты»! Не подумай чего плохого! Что все о плохом да о плохом думаешь? Кто тебя так запугал? Церковь?  
Галя разгладила на коленях подол ситцевого платья.  
— Нет. Я, вообще-то, бойкая. Это вы... ты... просто такой... настойчивый.  
— Настойчивый! Ха!  
Он вел машину по Москве и хохотал, закидывая голову; хохотал вкусно, залиvisto, не глядя ни на руль, ни на дорогу.

Старуха и правда оказалась старухой. Баритон не соврал. Седые бублики топорщились над висками. Галя подумала: на Баха похожа, как его на нотах рисуют, в парике и с такой же веселой улыбкой. Не Бах, а пекарь, шеф-повар ресторана «Прага». Старуха шагнула к Гале и внезапно цепко, свиной лапой, схватила ее за локоть.

— Какая девочка! Какая...  
— Какая? — смело спросила Галя, улыбаясь почти как Бах на нотах.  
— Румяная!

Баритон сварил на кухне кофе в джезве. Вытащил из шкафа недоеденный торт. Расставил на столе блюда, на них со звоном поставил фарфоровые чашечки. Розовые фарфоровые ракушки. Галя смекала: он здесь как дома. А старуху называет по имени, и на «ты». «Да он со всеми на „ты“. Простой».

— Исидора, тебе перчику с кухни принести? И соли?  
— Валяй!

Старуха махнула сморщенной рукой. Галя глядела на ее ногти, покрашенные густо-розовым лаком. «Модная. И молодится».

— А зачем вам перец? И соль? Тут же торт? Сладкое?  
— Для кофе. Я пью по-турецки! Перец с солью!

«Перец с солью — так про поседелые волосы говорят».

Ели торт, пили кофе. Баритон и старуха живо болтали, Галя молчала.

Потом баритон встал и засобирался: мне пора, пора! Помахал Гале весело. Выбежал вон.

Старуха торжественно прошествовала к раскрашенной позолотой двери и широко распахнула ее.

— Твоя спальня, крошка.

«Я не крошка!»

Галя закусила губу, чтобы старухе не нагрубить.

Тихо прошла в спальню. Кровать широкая, как плот. Устлана изумительным бельем, чудесным: на таком спят королевы, богачки. Струятся на паркет кружева. Рядом кресло, комод с зеркалом. «Трюмо. Как у нас... в деревне...»

— Зачем мне такая... — Слово искала. — Роскошь? Мне в коридоре постелите... на раскладушке...

Из-за стены донесся приглушенный вскрик. Галя вздрогнула.

Старуха пожала плечами. Достала из кармана юбки пачку сигарет. Вытянула сигарету. Галя расширила глаза: длинная сигарета, как игрушечная удочка для игры в рыбалку. Потом вытащила квадратную золоченую зажигалку. Прикурила. Дымила. В лицо Гале. Дым пах отцветшей черемухой.

— Брось. Тут все твое.

Обвела дымящей сигаретой спальный окоем. <...>

...Гудели вокруг страшные фаготы, гулом, стонами и гудом обворачивали кровящее нутро, исцарапанную живую кожу, текущие талые плечи холодной и мокрой гундосой простыней.

Она развесила простыню на леске, протянутой поперек ванной. Обтирая мокрое лицо мокрыми руками, вышла в гостиную. Крикнула отчаянно, пронзительно: выпустите меня отсюда! Кусок штукатурки отломился от потолочной лепнины и рухнул на пол с громким стуком. Старуха, в кресле, медленно, вкусно курила. Выпускала изо рта дым колечками. А кто тебе сказал, что тебя отсюда выпустят? Но вы же не имеете права! Крошка, а что такое право? Расскажи мне, пожалуйста, о праве! Очень интересно!

Галя перестала чувствовать свои ноги и села перед старухой на паркет. Так на землю садятся, уставши, на сенокосе. Смотрела на старуху во все глаза. Старуха смотрела на нее. <...>

Пламя взлетает светом суровым! Кармен, тебя я обожаю! У любви, как у пташки, крылья, ее нельзя никак поймать! Налейте, налейте бокалы! Зачем человек живет на земле? Чтобы кормить свой ужас из руки, как щенка, как теленка? И прикормить? И приручить?

\* \* \*

### БЕТХОВЕН. СЕМНАДЦАТАЯ СОНАТА ДЛЯ ФОРТЕПЬЯНО РЕ-МИНОР. ФИНАЛ

Это скачет конь нет тебе наврала это вся любовь в снегу-одеяле это все что мы никогда не целовали это все что придет в конце и в начале это скачка сердца и вот — остановка это заплачка скерцо исполнить ловко это дивное рондо уздечка-подпруга ну же скачи ровно по кругу по кругу в седле сиди прямо наездник сцены выбеги к рампе прости все измены и все любви и все твои клятвы из льющейся крови поставь заплату скачи вперед задыхайся жмурься ни о чем не думай летят белые мухи опять зима на стекле рисует пионы снег лед кутерьма за стеною стоны там только любовь а тебе лишь музыка снится ты только музыка в колесе времени спица ты только огонь между людьми ты пламя Бетховен берет тебя голыми руками ты молодость вся завтра высохнешь сливой станешь старым урюком древней сладкой подливой станешь старой уродкой на выданье старушонкой ну же заплачь молодо и звонко ну давай же скачи коню вцепляйся в холку убегай от злобы люди могут стать — волки они могут выть тебя когтить идти за тобой по следу скачи вперед кричи победу вопи на весь мир великое слово яростно хрипло чисто пламенно и сурово <...>

## МЕДНЫЕ ДУХОВЫЕ

Медь, латунь, серебро.  
Из всего этого выделяли трубы, тромбоны, валторны и тубы.  
Иногда делали их из дерева, а потом покрывали серебряными листами.  
Голь на выдумки хитра.  
Металл, сплав. Он всегда так сияет.  
А воздух внутри раструба мощно звучит, призывно.  
Кулиса, клапан, вентиль. Все это придумано для регуляции столба воздуха в медной раковине.  
А если просто сильно дунуть в охотничий рог?  
Так кричит природа.  
Медные духовые, опора, фундамент, столпы партитуры.  
Если надо передать скорбь или торжество — звучи, яркая медь. Ослепляй.

\* \* \*

### Corni

Вот он, охотничий рог! Натуральный!  
Нет, это громадный медный завиток, подобие медной красной рапаны.  
Валторна фа, валторна си-бемоль.  
Диапазон — от си контроктавы до фа второй октавы. И очарованно звучит, переливается весь хроматический звукоряд. Перламутр.  
Может длинные ноты тянуть. На сколько у тебя хватит дыхания, валторнист?  
В музыке главное — дыхание. Широкое дыхание. Мощное, вольное, свободное, широкое дыхание. Если его нет — нет музыки. Она рвется, как гнилая веревка.  
Да оно нужно не только в музыке. Везде.

*(Это я, я, поверьте.)*

А вы знаете, что Люська — это я?  
Я живу в музыке. Я живу музыкой. Еще немного, и зазвучу. Руки зазвучат, ноги, глаза, уши. Тело, оно стыдно дрожит, резонирует. Оно упрямо шагает в такт с Богом. У Бога слишком крупный шаг. Его нельзя писать с Заглавной Буквы. Он почти запрещен. Почти разрешен, я все всегда путаю. Его боятся. Я Его не боюсь. Я так же, как меццо-сопрано Галька-курянка, черт, или контральто, а какая разница, ну, та, которую исключили, а потом потеряли, у Него дома пела, в церкви. Недавно. А кажется — давно. В моем родном городишке — пела!  
Городочек... еще немного, и деревня...  
А может, деревня... еще немного, и город...  
Смычка, короче, города с деревней... как заповедано...  
Никто не слышал меня. Кроме церковного хора старушьего. Ну и не надо.  
Голоса... Голоса...  
Я сама себе старый рояль.  
Старых нот мне не жаль, я их в печке сожгла. И все дела.  
Наизусть я сонату играю, Бетховена Людвиг ван. Он был такой глухой хитрован: дрожишь, а играешь, умираешь, а все же играешь. Бежишь. Босыми ногами. До Рая.  
Ступню прожигает педаль. Себя мне не жаль.  
Я дрянь. А Бетховен — весь мир.  
Слоновую кость костлявыми пальцами протираю до дыр.  
Бедные, жалкие, старые клавиши... все кричите, вопите... все славите, славите...

Все. Хватит. Наигралась. У меня уже руки болят. Встану и выйду вон из репетитория. Унылый каземат. Рояль стоит на трех ногах. Глажу его по черной крышке, прежде чем уйти навек. Как черного зверя. Он отвечает тайным рыком. В его внутренностях — золотые, медные жилы, струны дрожат, свиваются в кольца, молоточки звенят еле слышно. Рояль, Христос мой, Будда и Кришна. Я не знаю, как точно Бога зовут. Рояль, пока. Я вернусь. Через пять минут. Покурю в коридоре, как эзк. Девочкам нельзя курить. Девочки — не мальчики. Хотя все мы всегда заключенные.

Вон мимо парень с валторной прошел. Смешная валторна. Скручена в золотую тугую спираль. Ничего ей не жаль! И мне ничего не жаль. Ни прошлого, ни будущего. Прошлого я забыла, а будущего — не знаю. И наплевать. Сама себе композитор, сама себе исполнитель, сама себе дочь и мать. Когда-нибудь стану чья-то жена, а потом опять останусь одна. Не моя вина.

Я — это я. Рояль — моя семья. Рояль — мои друзья. Клавиатура. Дура, партитура. Я читаю партитуру с листа, все тридцать две нотные строчки. Точки, хвостики, ребра, линии, точки. Я музыки дочка. От смерти отсрочка. Знаете, я иногда так больно, остро чувствую время. Я в нем лечу. Музыкой — надо всеми.

Выхожу в коридор. Из-за дверей — рояльный хор. Гомонят на все голоса. Жить нам осталось всего полчаса. Говорят, все равно грянет всеобщая война. Черт! И музыка никому не будет нужна.

Сигарета слишком горькая. Тьфу! Называется — «Бурса».

На корточках у стены сижу. Как перед расстрелом. Вот покурить солдаты немного дали. Чуть. Сбавай себе туш. Притворись бывалой. Я же девочка. Мне бы в куклы играть. Окурок тушу о бетон. В меня дворник Юг намертво влюблен. А я с ним не сплю. Черт! Ой, Боже, прости, что сморозила. Я музыку, Боже, больше жизни люблю. <...>

\* \* \*

### БЕТХОВЕН. ТРИДЦАТЬ ДВЕ ВАРИАЦИИ ДО-МИНОР

Зачем я гордая? Да. Горда. Зачем иду в нигде, в никуда? Зачем шепчу вечное: никогда!.. — и мимо — реки, огни, города. Сейчас — Москва. Сегодня — Москва. А может, Вена, серебряная трава. А может, Берлин, немецкие слова, на плацу солдаты: ать-два, ать-два. Ах, эта синяя река Дунай, ах, эта Эльба, едва узнай. Столицы мира. Такая рань! Заштопай дыры: твой бархат дрянь. Ты тоже умеешь ритм. Ты в ритме живешь. Ты хватаешь клавишу — отточенный нож. Ты знаешь все тридцать два фюэте. Это твоя музыка. В никогда и в нигде. Ты слишком заносчива! Да. Такова. Я просто музыку перелагаю в слова. Я просто музыка, ее кройка-шитво. Я просто музыка, житье таково. Я просто музыка, зимнее торжество! ...Я просто музыка, и больше ничего.

### УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Колотушки, палки, молоточки.  
Металл, дерево, камни.  
Древнейшая музыка. Древнее нет.  
Бубен звенит, барабан грохочет, ксилофон разбивается на тысячи хрусталей.  
Кастаньеты. Тамбурин. Маракас. Трешотка.  
Грандиозные литавры.  
Человеку нельзя без сердца. Сердечные удары все уже отмерены.  
Можно точно высчитать, сколько раз за всю жизнь сердце будет ударять тебе в ребра.  
А ты будешь жить. Жить. <...>

\* \* \*

**Tamburino**

Бубен. Шаманы. Пляски у костра. Это было вчера.

Сотни веков назад.

Ратный бубен поднимал дух воинам перед сражением.

Скоморохи, шуты трясли бубном, гремели, звенели, зазывали гостей.

Люд на площади собирался, а бубен звенел, и красные скоморохи в смешных колпаках катались в снегу колесом.

А бубен звенел.

Азийский, пустынный даф. На песчаный бубен натягивали кожу драгоценного осетра. Осетр давал особый тон, волшебный звон. Индусы обтягивали свой бубен, канджиру, кожей ящерицы.

Бедные рыбы и звери. Бедный человек. Он всегда убивает живое ради улады своей.

Бойран: ирландские скалы. Пандейру: танцы Бразилии.

Зачем бубен оркестру? А чтобы помнил оркестр: музыка не вечна, смерть рядом, и нужно, чтобы прыгал и в бубен звенел шаман. В последний путь провожал.

*(Злата пишет донос на Ванду.)*

Она придумала. Это будет лучше всего. А потом — бей в барабан!

Так бей же, бей, бей по ней, бей жесточе, бей сильнее! Все равно не убьешь! Все... равно...

...Она писала по старинке, перо обмакивала в чернила, в чернильницу, мраморный чернильный прибор, для пущей важности: великая певица должна иметь сие сооружение на письменном столе! — ей подарил министр Дергачев. Стальное, вечное перо методично стучало, тюкало о дно чернильницы, о железное днище, Злата осторожно вынимала перо из адской черноты и сини и писала, сначала медленно, а потом быстрее, все быстрее и быстрее, и вот уже перо, не сдерживаясь, летело по листу, и строки размахивались крыльями — такие вольные и широкие, как ветер, как крылья Ангела на фреске в церкви.

*«Уважаемый Первый Секретарь, уважаемый министр Дергачев и все другие уважаемые министры, уважаемый Верховный Совет нашей великой Родины!*

*Довожу до вашего сведения, что я располагаю неопровержимыми доказательствами того, что солистка Большого театра, главного театра нашей великой страны, сопрано Ванда Гаевская очерняет нашу великую Верховную Власть, позволяя себе неллицеприятно и вдобавок нагло, в открытую, в грубых тонах высказываться о ней. Она не уважает ни наш великий символ — Красную Звезду, ни наше великое Красное Знамя, с которыми мы боролись и побеждали. За какие заслуги ее приняли в труппу Большого театра? За то, что она воевала за пределами нашей великой Родины? За то, что на этой войне она ослепла? Многие люди теряют зрение, теряют руки и ноги, слух и речь даже в мирной жизни! И их за эти, с позволения сказать, заслуги никто не берет в труппу Большого театра!»*

Перо зависло над бумагой. Чернильная капля тяжело, гибельно упала, растеклась. Злата наклонилась и быстро, по-детски, слизнула кляксу языком.

*«Уважаемые представители нашей Красной Великой Власти, дорогие товарищи! Обращаюсь к вам с убедительной просьбой — изгнать из рядов честных краснознаменных тружеников нашей родной культуры эту польскую волчицу, эту ненавидящую все родное и любимое коварную прилипалу, этого прихвостня ненавистной западной*

*идеологии! Пусть покинет не только стены великого Большого театра, но пусть с позором покинет пределы нашей великой Родины! Таким изгоем, предателям место только там — на задворках западного растленного общества, а отнюдь не в нашем честном и справедливом народе! Если вы потребуете от меня доказательств предательского, нечестивого, непотребного поведения тов. Ванды Гаевской — я вам их предоставлю!*

*Прошу принять мое письмо к рассмотрению.*

*Слава нашей родной Власти! Слава нашей любимой Родине!*

*Слава нашему великому Красному Искусству!*

*С уважением — Злата Батрак, солистка Государственного академического Большого театра, меццо-сопрано, исполняющая также и партии сопрано».*

...Вот как, подумала она про себя, а ведь я правду написала, когда сопрано, бывает, захворает, ко мне кидаются: ах, Злата Павловна, а вы Аиду поете? А как же, усмехаюсь я, пою! Еще как пою! И — выхожу и пою. И овации собираю! Бисы! Я незаменима! Кто еще так может?!

А за кулисами на меня косятся. А в гримерке мне в спину грязную ругань, как черный снежок, пускают. А я молчу. Мне-то что. Я сопрановую Аиду спела, меццо, и всем нос утерла. Вы! Попробуйте-ка, выйдите, рот разиньте! А? Что?! Слабó?! Кто из вас, да, вот так — может?!

...Она. Она — может. У нее не голос — целое небо. И, скажи себе прямо, не вилай, не кокетничай: она поет лучше тебя. Лучше. Потому что она поет сердцем. Может, ногтями грудь разодрать, ребра ножом раскромсать, и туда, внутрь, под выгибы мерзких костей, еще живое, как подбитая на охоте, дрожащая белка, чужое живое сердце — всунуть? <...>

Она сидела за столом, над письмом, час, два, три. Чернила давно высохли и теперь поблескивали радужно, нефтяно. Она втянула воздух носом: хоть бы запах съестного. В доме шаром покати. Выбралась из-за стола, как из блиндажа. Проковыляла старухой на кухню. В хлебнице мотался высохший кусок ржаного. Невзирая на худобу, Злата ела мало. Блюла фигуру. Она привыкла к себе, тощей, и иной судьбы не хотела. Протянула руку к хлебу. Отдернула от хлеба руку. Ей почудилось — за стеной кто-то играет и поет. Даже и не поет, а воеет. Прислушалась. Да, человек за стеной пел, скорее рычал и выл, и шумно отбивал ногой такт. Иногда звучал рояль. Господи, кто это? Жильца-музыканта подселили — вот что это. Ну, высотка, держись! Разнесут тебя музыкой по швам! Вот опять завыл. Заплакал. Филин, что ли? Сыч?! Господи, как страшно! У нее похолодели руки, ноги. Ты зря написала этот донос, мать, сказала она себе, это не к добру. Лучше порви.

Вот опять вой! До небес! Так воеет только — кто? Не называй его имя! Даже священники не называют его имя! А я — назову! Это дьявол — вот это кто! Ну и сгинь-пропади, дьявол, я тебя не боюсь!

Надо убежать. Удрать. Пойти в ночное кафе. В ночной ресторан. Пол-Москвы живет ночной жизнью. Вот и ты поживи. Хоть немного.

А куда идти? Где эти ночные забегаловки? Она же приличная... она же не шастает по таким заведениям...

И тут дверь закрипела и грубо, широко распахнулась.

Злата встала, крепко сжав кулаки. Только не кричать! Грабители! У них отмычки! Как же нужен дома пистолет! Ведь она же говорила дураку Дергачеву! В раме двери стоял человек. Не гляди на него, ты потеряешь сознание. Так страшен он. Так дик. Волосы шевелятся вокруг его башки, черные, седые, мрачные пряди. Переплетаются. Падают бессильно. Глаза, крошечные, запавшие под лоб, бешено горят. Не пиджак, не штаны — рваные, в заплатках, тряпки. Он как с войны! Он сумасшедший, больной! Он —

из больницы сбежал! И ее квартиру вскрыл! Да нет, он же просто выломал дверь плечом! Нет, это он стучал, выл, брякал на рояле и пел за стеной, и в стене от звуков образовалась дыра, и он в нее вошел! Как бегают его глаза! Он ими что-то ищет. Что или кого? Ее?! Что он орет?! О чем блажит?! Слушай его! Это его песня! Он — иначе не может! Не может по-другому! Всякий поет, как умеет! Ты беден? Голоден? Нищ? Жалок? Ты всеми брошен? Оставлен? И Богом тоже?! Да... и Богом — тоже...

Злата подняла руки вверх, будто просила пощады. Сейчас! Ты великий музыкант! Я знаю тебя! Я узнала тебя! Ты хочешь есть! Я приготовлю тебе поесть! Потерпи! Стой тут! Жди меня! Я сейчас!

Она выкричала все это в пустоту, а будто бы ему в лицо. Он скрежетал зубами. На его щеках вздувались под кожей бобы желваков. Его широкоскулое лицо внезапно превратилось в бубен. И зазвенело, и забилося. Она в ужасе метнулась на кухню. Гремела там кастрюлями, тарелками. Когда она вышла в комнату, с тарелкой в руках, в дверном проеме никого не было. Она разбито, обреченно села на диван. Поставила на диван тарелку. В тарелке лежало вареное яйцо, порезанный на куски помидор и тот подсохший кус ржаного, что она так и не успела жадно сгрызть.

\* \* \*

### **Tamburo militare**

Малый барабан. Военный барабан. Чертова кожа.

Деревянный цилиндр. Старушие дребезжанье. Дубовые палочки.

Первые оперы и первые симфонии. Первая музыка для королевских фейерверков.

Зачем им всем военный барабан?

А вот нужен. Человек не может без войны, ему нужно слышать ее дребезг и лязг.

Россини, «Сорока-воровка». Траурный марш из Берлиозова «Гамлета». Без четких, страшных ударов нельзя. Они — пульс земли. В нее мы все ляжем. Дайте срок.

Танцуй, Равель, ты болеро святое! Плащом от смерти я тебя укрою.

О, как бы чудесно было, если б тебя никогда не убили!

Ни на войне. Нигде.

Вместо нотоносца — нитка для твоих нот, военный барабан: под партией бубна, над партией тарелок.

*(Ванду и Славу изгоняют из страны навсегда.)*

Хорошо, что она слепая; она ничего не видела.

Странное молчание обнимало ее. Она слышала рядом с собой шорохи, покашливания. Легкий цокот каблуков. Ей казалось, вокруг нее встает опасное сияние, будто из ее головы, от плеч и рук бьют струи огня, взвиваются вверх, к высокому потолку зрительного зала. А люди шарахаются от ее огня; от сияния ее. Зачем сиять, когда можно прожить в подполье, серой мышкой? Зачем она поет в лучшем театре мира, лучшую музыку мира? Ведь мир смертен. Как человек. Зачем каждому дано пройти по миру свой отрезок дороги, чтобы потом, не дойдя до конца, не добежав, подняв руки вверх, будто это уже не руки — языки огня, упасть посреди дороги? И люди пойдут дальше. Они переступят через тебя. Ты должна это помнить.

Ты, слепая певица.

Она не видела, как наполняется зрительный зал, как вливаются, льются люди в партер; как много в зале торжественно, нарядно одетой публики, и мужчин и женщин; мужчины в черных пиджаках и светлых смокингах, женщины в вечерних декольте, и жемчуга мерцают на голых шеях. А ведь утро! Утро, а не вечер! Это же не спектакль! Это

генеральная! Она не видела, как торжественная вечерняя публика усаживается, как люди вынимают маленькие театральные бинокли и наставляют их на сцену, вертя головами, жадно выискивая на сцене ее, Ванду. Это простая публика? Это не простая публика! Тут множество знатных, именитых людей. Товарищей? Гусь свинье не товарищ! И тебе не всякий — товарищ! Дружеское словцо, ласковое. Будто тебя кто похлопал по плечу.

Она ничего не видит, но слышит рядом с собой шепот: тише, тише. Это ей шепчут «тише»? Или всем шепчут «тише»? Музыка — ведь это повинность. Как любая работа. Как любое искусство. Театр — корабль. Он или плывет, или тонет. Земля тоже корабль. Страна тоже корабль; как быть, если ее команда сбежала с корабля, словно бы это не матросы, а крысы? Она не крыса. Она Ванда Гаевская. Гаевска, как у нее в Польше говорят. У нее? Разве она знает, помнит своих предков? Одна из ее бабок погибла в Освенциме. Ей бормотал пьяный отец: бабку засунули головою в бочку с водой и так держали, пока она не задохнулась. Не захотели тратить на нее пулю.

Она не видела, как в зал все входят и входят нарядно одетые люди, как важно рассаживаются в партере, обмахиваются газетами, веерами. Они послушают оперу с нею, с Вандой, и с вереницей других отменных певцов, а на завтра сядут за свои дубовые столы и будут строчить, царапать кляззы, доносы, гадости. А эти женщины? О, они станут — бабы. Они снимут и побросают в душный нафталиновый шкаф свои вечерние парчовые одеяния. Наденут ватники, фуфайки, синие и черные халаты, холщовые рабочие робы. И пойдут. Куда они пойдут? О, это целая опера. Под названием: «ТРУД ЛЕЧИТ ЧЕЛОВЕКА». От чего лечит? От какой инфекции? Тяжелый труд, он что, такой же, как пение в опере? Да! О да! Мешки со щебенкой через рельсы потаскать — все равно что оперу спеть! Точно так же спину надорвешь!

Она не видит, как все смотрят на нее. Какими глазами. Она — слепой зверь в цирке. Вывели на арену, сейчас он встанет на задние лапы. Всем уже известно, что приму и ее муженька выгоняют. Подумаешь, виолончелист в оркестре Большого. Пиликает и на свою женку из ямы смотрит. Переживает. А куда они сейчас-то? А вы разве не в курсе? В Америку. Америка большая! В Штаты. Нашли куда сгинуть! Туда им и дорога! А вы зачем пришли на генеральную, если их так ненавидите? А вы? А вы?

Она сама заявление написала? А пес ее знает! Видимо, сама! Ах, какая наглость. Не ценит, матушка, родную страну! Мало ей Красная Звезда поблажек отвалила! А может, ей просто денег мало. Ну да, конечно, денег! Ах она, жадина! Вот так они все, и эта слепая туда же! А может, ее поводьрь надоумил. Муж? А кто же еще!

Она не видела, как в оркестровой яме появился дирижер, только слышала, как он постучал палочкой по деревянному пульту, призывая к порядку и вниманию. Не видела, как дрогнули во многих руках бинокли, нацепленные на специальные палочки, чтобы рука не уставала: эти бинокли водились среди театральной публики еще до революции, и в семьях бывших, расстрелянных и замученных в сумрачных тайгах, они еще, выходит, сохранились. Не видела, как сцена заполнилась молчащим народом; тихо жался к кулисам хор, тихо, на кривых ногах, вышел вперед старый шут Риголетто, исподлобья глядел на нее. Рядом с ней стояла верная Ева. Ева нашла рукой ее руку. Как всегда, крепко сжала. Сейчас они пойдут вперед. Только вперед.

*В храм я вошла смиренно... очи склонив в моленье! И вдруг предстал мне юноша... как чудное виденье...*

Она пела, голос взмывал и звенел, а мысли под черепом ползали муравьями, сами по себе. Ее никогда не проводят отсюда на заслуженную пенсию — с почестями, с орденом Ленина на краснобархатной подушечке, с громадными, величиною с клумбу, букетами цветов. Живых! Розы, гладиолусы, царские лилии. Пахнут одуряюще. Нет, не так. Ее никогда, никогда в жизни не похоронят отсюда. Не загремит скорбный хор



под красными сводами. Не возрыдает мрачный оркестр в яме, так похожей на беспросветную яму в земле. Не зазвонят благостные речи в ее честь в полном народе фойе. Не вынесут ее мертвое тело из театра в обитый черным крепком грузовик, стоящий у дальнего подъезда. Не повезут, медленно и печально, на кладбище: куда? на Ваганьково? на Троекуровское? на Новодевичье? Должно быть, на Ваганьково повезли бы, там много лежит артистов. Джилда, пой! Звучи! Выбрось эти мысли вон! Ну, донос и донос! Ну, уедешь и уедешь!

Главное — со Славой.

*Слова я с ним не молвила, но взоры сказали страсть мою! Во тьме ночной явился он, — томим мечтой влюбленной; бедным студентом назвался, робко и так смиренно...*

Ах вы, люди в зале! Вы бы с радостью на нее набросились. Вы бы стащили ее со сцены, раздавили, растерзали. Били бы ее долго и страшно, ногами под ребра, в лицо; а избив, наклонились бы над ней и спросили издевательски: что, получила? еще хочешь? а не делай так, как сделала! Нас — запрещено ненавидеть! Ты слышишь! Запрещено! Нас можно только любить!

Верди, она поет Верди, а вот есть дивный композитор, Есаулов, да, Георгий Есаулов, ей играли его и пели, у него такие оперы, такие симфонии, а он уже успел посидеть за колючей проволокой, отбыл срок и вернулся, и его снисходительно обласкали, и к музыке — допустили, да строго предупредили: если что против нас будешь валять — мы тебе такого ваньку опять повалием! никогда не выйдешь на волю. Кто же не хочет воли! Воля — это ветер. Он дует в лицо, и тебе хорошо. Воля — это когда тебя целуют. Потому что любят.

Есаулов — гений. Слава сказал, он почти весь год торчит на даче под Москвой. Слава у него был; вместе с Евой; они играли маэстро — самого маэстро: Вторую сонату для виолончели и фортепьяно. Слава бормотал: старик рассказывал им байки про Сибирь, про Соловки, угощал их домашним мороженым, и Ева съела две креманки и еще попросила, невежливо, Слава наступал ей ногой на ногу под столом. Композитор жаловался, что он один. Посверкивал глазами из-под круглых очков на бедную Еву. А она наяривала мороженое.

А они дружат? Кто? Ну, два гения. Есаулов и Шалевич.

Есаулов про Шалевича молчал. Ничего не говорил. Может, и дружат. А может, друг друга ненавидят.

Слава торопливо вышептывал: старик плакал, когда говорил про премьеру своей оперы под названием «Перекоп». Еще он написал оперу «Царская семья». Ну это уже вообще ни в какие ворота! Он кричал: я поменяю название, только репетируйте! Репетиции разрешили. С тайным умыслом: провести генеральную, а потом раздолбать оперу про Царя везде, где только можно. Мало ли у нас газет! А радио вообще везде гремит! Даже на площадях! Песня о Ленине! Производственная гимнастика! Ванда, как же он плакал! «Жизнь за Царя», стонал он, ведь была же у нас в России «Жизнь за Царя»! Ты, подонок, кричали ему, ты получишь у нас «Смерть за Царя»! И это пламя взвилось, едва отзвучал последний аккорд генеральной репетиции. И пошла, закрутилась репетиция смерти. И что? И ничего! Ты же видишь, его оставили в живых! Не расстреляли! И на свободе! Не упекли!

*Мне он в любви и верности поклялся навсегда!.. Исчез... а я... Грезам любви предалась... тем грезам, что сердце так пленяют...*

Джилда тут должна закатыть глаза. Или умиленно взглянуть на старика отца. Ванда ничего этого не делает. Она поет. Она просто поет.

Сколько изумительной музыки не увидело свет! Сколько пропало фильмов, картин, стихов. Их просто сожгли. Где? Да где угодно: в печке, в костре на опушке зимнего леса. Стихи, ведь они пишутся сердцем. Его драгоценной кровью. Это трюизм, все

понятно, чем же еще, скажите, их писать? Да они и не пишутся: рождаются. Как младенец. Как песня. Когда тебе одиноко, ты поешь песню. И когда счастлив, тоже поешь. Сколько счастливой музыки не отпраздновало под луною свое живое счастье! Ее оплели колючкой, выкопали ей яму, бросили туда и забросали землей, хлоркой, аммиаком, дырявой обувью, битым стеклом.

Ванда, пой. Голос свободен. Он — счастлив. Пой, чтобы сказать людям: счастье — есть, даже под лезвием ножа, под ружейным стволом.

Действие — это время. Время — это жизнь. Жизнь — это смерть. Твой любимый Верди сказал: в жизни есть только смерть. Слава прочитал тебе эти слова из книжки про Верди и вдруг замолчал. А ты спросила тогда: что ты молчишь? И Слава сказал: я не могу говорить.

Она не видела, как на сцену из картонного дома выбежал тот, кто должен ее убить. Потом опять вбежал в дом и следил за ней из картонного окна. Разбойник; нанятый бандит. Убийство, что оно такое? Лик дьявола. Просто его черный лик, и он узнаваем; такие лица художники не рисуют, запрещено; Слава сказал: сатану малюют только на иконах, чтобы верующие знали, как выглядит зло. А как, тихо спросила однажды Ванда. Они сидели и пили чай, и за окном сгущал синеву зимний вечер, и дома было холодно, и крихтели, стонали обе больные старухи за стеной: бабка и прабабка. Расскажи, сказала Ванда. И Слава сказал: такой, знаешь, черный чертик, будто в костре горел, и обгорелого, как головешка, кочергой вытащили, с рогами, худющий, ребра торчат, вместо ступней копыта, как у козла. Рожа страшная, скалится. А его святой какой-нибудь гонит плетью. Или прокалывает копьем. Стой, вспомню, кто копьем-то колет. А, да, Михаил Архангел. Ах нет, и еще знаешь кто? Георгий! Георгий Победоносец! И он бережно вложил ей в ладонь маленькую, как раковина рапана, старинную фарфоровую чашку с горячим чаем. И спросил: ты не обожглась, родная?

Она поет. Она Джильда. Она смотрит на старика отца, шута Риголетто; делает вид, что смотрит. На самом деле она смотрит внутрь себя. Туда, куда обычным зрячим людям смотреть не велено. Запрещено.

Из ямы вздымается волна горячей музыки. Она подхватывает Ванду, несет. Верная Ева тут. Пусть народ в зале думает: это еще одна служанка. У Джильды есть служанка Джованна, так пусть эта будет, к примеру, Джемма. А что она все время молчит, не поет? Да она же немая. В либретто у Верди был такой персонаж; только сейчас режиссеры не выводят Джемму на сцену — лишние хлопоты. А вот в Большом — вывели. Не правда ли, красиво?

Ева, как кукольник, поднимает руку Ванды и направляет к двери. Ванда сжимает руку в кулак и громко стучит. Она знает: за дверью тьма. И надо предупредить возлюбленного о том, что тьма... Убийца распахивает дверь. За герцога слезно молила сестра. Убийца сказал: я оставлю жизнь твоему брату! Я убью первого, кто постучит в мою дверь!

Стук в дверь. Сейчас она распахнется.

И она — распахивается.

Служанка отпрянула и упала наземь. Убийца обнял Джильду, сверкнул нож. Софиты удачно выхватили блеск лезвия из мрака. Джильда не поняла, как ее убивали. Холодно это, жарко, больно или никак. Она же Джильда, а не Ванда.

Она, так велел режиссер, тихо опустила на землю. Ну, значит, на доски сцены. Старалась не дышать. Ведь она же мертвая. Нет, дыши, ты еще не умерла, ты умираешь. На умирание нужно время.

Она лежала на досках. Почувствовала, как на нее натягивают пыльный мешок. Мешковина пахла мышами и немного рисовой пудрой. Еще чуть — одеколоном «Кармен».

Ее цапнули за ноги, за щиколотки, и потащили. Затылок больно бился о доски. Только не застонать. Сейчас уже кулисы. Вот сейчас.

...мы сейчас улетим из нашей страны мы в ней жили сколько там тысяч лет будем звуки через тьму не слышны через плотный мощный слоями свет мы сейчас улетим разве ангелы мы записали нас в небесный реестр попросили мы панихиду взаймы — а нам дали на память целебный оркестр уврачует раны наложит швы а быть может из небытия воскресит мы избегнем тления но увы не избегнем ячеи трясущихся сит Мы не вынесем самолетный гул ни вдали ни вблизи ни уже внутри ты слепая ты музыки вьючный мул ты давай подруга в себя не смотри это настрого насмерть воспрещено это быстро карают не успеешь и ах! — тихим выдохом — а уже на дно опускаешься с веткой сирени в зубах Ты Офелия Джильда Изольда Кармен все кто хочешь и кого не хочешь хотя только то что тебе разрешает плен только то что больно бьется в горсти Мы страдали здесь мы любили тебя золотая красная ты земля улетаем кладут наши тела в самолетный гроб на борт корабля Будем помнить на сколько сужденных лет васильки во ржи и гимн поутру и военный салют а смерти-то нет не умрешь любимый и я не умру Не умрешь наша родина она — это мы гнуто-бито все вдоль внутри поперек улетаем плачь не возьмешь ни взаймы ни на память твой во ржи василек

...Слава ни с кем не хотел ни видаться, ни прощаться. Он понимал: прабабку и бабу может больше не увидеть. Улететь навсегда, что это? Как это? Все дни до отъезда навсегда они прожили в квартире, где тихо угасали Славины старухи. Раздался звонок. Он медленно взял черную тяжелую, как гиря, трубку. Услышал в трубке голос. И тут же трубку на рычаги бросил. Звонок загремел снова. Ванда ровно сидела в кресле, не прикасаясь спиной к обитой фланелью спинке. Ушки на макушке. Сейчас важно не ошибиться. Верно, правильно вести себя. Ванде не понравится этот разговор. Надо уберечь ее от этого разговора.

Звонили долго. Наконец звонок умер.

Слава готовил на крошечной кухне обед: варил зеленые щи, жарил навагу. По квартире разносился терпкий рыбный дух. Слава подумал, разбил яйцо и залил навагу яйцом. А потом еще покрошил в сковородку зеленый лук. Рыба по-польски, он так и скажет милой Ванде: рыба по-польски, прошу любить и жаловать, ее так обожали твои благородные предки.

А может, предки у нее были крестьяне, что сам себе мелешь.

А что, крестьяне не ели навагу? В особенности — поморы?

Померания... померанцы... земля апельсинов, что ли... Скалы, ледяное море, свинец волн...

На подносе он внес кушанья в большую комнату, она же их с Вандой спальня. В маленькой спальне лежат обе старухи. Они уже обе лежащие. Сейчас он будет их кормить. Но сначала Ванда. Ванда — прежде всего.

— Родная, я приготовил тебе рыбу по-польски! Но сначала... сначала...

Она уже весело морщила губы. Делала вид, что радуется.

— Сначала — весенние щи! Щавель, крапива... пальчики оближешь!

Он налил щи из супницы в глубокую алюминиевую, будто лагерную, миску. Такую миску удобно было держать самому, когда кормишь кого-то беспомощного; и Ванде удобно было держать ее за круглое, выпуклое дно.

— Поешь! Поешь, пожалуйста!

Ванда сидела все так же, ровно, недвижно и молча. Как кукла. Кукла Олимпия в опере «Сказки Гофмана».

— Вандочка. Ты не переживай. Я договорился с соседкой. Она будет ухаживать за нашими старушками. Я заплатил ей аванс. И будем оттуда... из Америки... пересылать. Аккуратно!

Ванда молчала. Слава подсел к ней, осторожно держал миску. Ложкой зачерпнул щей, медленно поднес к Вандиному сомкнутому рту.

— Вандуся... Ну что с тобой... Хоть глоточек... Есть-то надо... Чтобы — жить...

При слове «жить» она вздрогнула. Вся: всем зрячим телом. Повернула к мужу лицо. Слепые глаза глядели внутрь себя.

— Жить? А разве мы живем?

Слава уронил ложку в тарелку. Опустил голову. Щи, сквозь алюминий, жгли ему ладонь.

— А разве...

— Мы только делаем вид, что живем. Чтобы друг перед другом не было стыдно. Мы — не живем. Только она живет.

— Кто — она?

Слава спросил — и понял.

— Музыка. Мы все уже ненастоящие. Она одна — настоящая. И в этом ужас.

— Почему — ужас?

Ванда ползала слепыми руками по столу. Заплетала кисти скатерти в косичку.

— Потому что мы так ее играем и поем, будто с ней — прощаемся. И это правда. Правда. Прощаемся. И больше не встретимся.

Слава медленно поставил миску с зелеными щами на скатерть.

— Почему — не встретимся?

— Она тоже станет ненастоящей. Через какое-то время. Скоро.

По его лбу тек холодный пот.

— Как это — ненастоящей? Почему — скоро...

Глаза Ванды медленно перетекли, два опала с алыми огнями внутри, с пристально-го наблюдения души на попытку притвориться, что она видит лицо любимого мужа.

— Стариков перестанут исполнять. А новые композиторы пишут ненастоящее. Подделки.

— Господи, Ванда, какие еще подделки...

— Такие, — тихо, нежно и твердо говорила она. — Якобы музыку. Ноты, и их играют, и звуки летят, плачут... смеются. Воздух звучит. Все как в настоящей музыке. Только...

Она замолчала.

Молчала долго.

Слава терпеливо ждал.

Потом не выдержал.

— Что — только?

Ее глаза то прозрачнели, то жемчужно мутнели.

— Только без сердца.

И он понял. И вытянул руки над столом, над миской, над которой еще поднимался пар; и грел руки, и мерз, и дрожал, и сожалел, и боялся, и восставал, и смирялся, и плакал без слез.

В аэропорту их провожало немного людей. Ванда запретила приезжать в аэропорт к отлету их рейса. Стояло холодное дождливое лето, Ванда дрожала, как заяц; Слава нарядил ее почти по-зимнему — в шерстяную шапку, в короткий полубухок, укутал ей шею в теплый шарф. Немногие люди стояли посреди мраморного светлого зала. За стеной слышался гул. Самолетный оркестр играл небесную музыку. Бил и бил маленький военный барабан. Крошечный жестокий барабанчик. А барабанщик где? Почему

мы его не видим? А потому что у нас нет глаз. Их выжгли. Навек. На последней войне. Люди подходили к Ванде и Славе, обнимали их, целовали, но все это было незачем. Объявили посадку на борт. Слава крепко взял Ванду за руку. Пойдем, мое чудо. Моя жизнь. Ты моя настоящая. Он увидел угол ее улыбающегося рта. Нет. И я тоже ненастоящая. Я же слепая. Я же не вижу, что было, что есть и что будет.

\* \* \*

### **Piatti**

Литье иковка. Ковка и литье.

Ударь медью о медь, и рассыплется искры.

Китай. Индия. Турция. Греция. Армения.

Ковали медные тарелки и оглушительно били в них.

Медные щеки. Ждут медных оплеух.

Если forte — сердце захватит, задрожит, упадешь, как от удара молнии рядом.

Если piano — нежнее шепота. Чуть звенящее рыдание.

Военная симфония! Глюк и Дебюсси! И снова траурный марш до небес: похоронная процессия, и кого сегодня хоронят? А, знаменитого Верди! И вся Италия идет за гробом. И весь мир!

И музыкант бьет, бьет в тарелки. Хочет их разбить.

На медное счастье.

На золотое бессмертие.

*(Слава рассказывает Ванде про любовь с Евой. Дуэт.)*

Родная, хочешь, я почитаю тебе газеты? Ты узнаешь все новости. Хочу! Нет, потом. Я не хочу слушать, как мир топчется на одном месте. Лучше расскажи мне что-нибудь. Хорошо. А что тебе рассказать? Возьми мои руки и грей их своими. Вот так? Да, так. Расскажи мне самое важное. Ну, что тебя тревожит больше всего.

Он сам не знал, что это на него нашло. Зачем он стал ей — про это про все. Разве то, что было, еще есть? Ведь этого уже нет. Ну и не стоит ворошить. Зачем он стал ворошить перед спокойно, мирно сидящей, с холодными руками в его горячих руках, Вандой то, что давно умерло? Или недавно? Оно же тоже ненастоящее. Оно живет только в нем. В его воображении. А разве вся на свете музыка — не плод воображения композитора? Милая. Я тебе изменил. Ха-ха-ха-ха! Пошути как-нибудь по-другому! Да нет, я правду говорю. Я же настоящий. И ты настоящая. Ты слушаешь? Ты слышишь меня? Да. Да, я слышу тебя. Говори. Я изменил тебе с... Не называй ее имя! Пожалуйста! Хорошо. Не буду. Но ты и так догадаешься. Сама. Хорошо! Сама! У нее была органная репетиция. Я услышал звуки органа из Малого зала. Такой гул, до небес. Поздний вечер. Я только вышел из класса, спустился по лестнице вниз. И тут этот гул. Челла со мной. Гул идет стеной. Я как околдованный. Открыл дверь. Время позднее, уж к полночи подбирается. Вахтерша дремлет. Я подхожу к двери зала, толкаю ее, вхожу. За органом вижу ее. Она играет и не видит меня. Я кладу Челлу на красные кресла, как человека. У меня чувство, что Челла ранена. И я не могу ей помочь. И она сейчас истечет кровью. А органистка играет! Штифты все повыдернуты, орган ревет! Я голову закинул. Трубы переливаются синим, красным. Ощущение, что она сидит в костре и играет. У меня мороз по коже идет. Знаешь, в этой музыке был Ад. Но и Рай тоже был. Я не знал этого композитора. Но не Бах. И не Лист. И не Сезар Франк. Современный, ближе к нам. А может, она импровизировала, не знаю. Нет, на пульте стояли ноты. Но кто знает. Может, ее нес ветер уже нездешний. Так это звучало,

и так я это впивал, глотал. И тут я не знаю, что сделалось со мной. Я расстегнул футляр и вынул Челлу. И смычок. И поставил Челлу прямо, крепко перед собой, воткнул подставку в щель между паркетин. Взмахнул смычком. Заиграл. А она даже не обернулась! Но музыку мою на лету поймала. Подхватила! И стали мы играть вдвоем. Дуэтом. Орган и Челла, вот чудеса. А зал пустой, резонирует; и звуки гаснут, умирают за дальними креслами. Она не оглядывается. И я на нее не смотрю. Играем оба. Я не могу тебе передать, что это за музыка была. Посреди ночи, в Малом зале, одни. Слышит только консерватория. Но мне казалось, нас слышит весь мир. Пустыни, горы. Океаны. Все распахнулось. Орган, он такой. Он слишком мощный. Смертный его не поднимет. Мужик-то не поднимет такую музыку, махину. А тут женщина. Она так играла, будто меня обнимала. Прости!

Что ты замолк? Говори дальше.

Она прошептала это слишком тихо, но он услышал. Такой уж вечер выдался, и если взялся за гуж, не говори, что не дюж. В жизни бывают моменты, за которые потом надо платить. Часто эта плата настигает внезапно, накрывает. Вот сегодня обоих накрыло. Значит, надо играть эту музыку до конца. Милая, я и играл. Играл! Как мог! Потом обливался! Я уж не понимал, что у меня по щекам течет, а может, я плакал, не знаю. И вдруг все оборвалось. А я еще играл. И тоже умолк. Смычок провел последнюю ноту и отлетел от струны. И вот только тогда она обернулась.

Да я ее сразу, еще когда она играла, сидела за органом, по волосам узнал. Они у нее, знаешь, такие райские. Я... шупал... Такие нежные... Только ты без обид. Пожалуйста. Я бы тебе никогда не сказал. Но вот говорю. Она выключила орган, он перестал гудеть. Меха умолкли, больше не дышали. Я положил Челлу опять на кресла. Как большую или спящую. И мы пошли навстречу друг другу. Она спускалась со сцены, а я шел к ней. Это не передать. Это даже не мы шли, не ревнуй. Это две музыки шли. Музыка и музыка. Ты понимаешь, все мы умрем, все, и люди, и звери, и, может, даже боги умрут, и, может, в это трудно поверить, но это может быть, наша музыка умрет, и мы с тобой умрем, еще немного проживем и вдруг умрем, но вот бывают в жизни такие минуты, когда не ты ею владеешь! Не ты — управляешь! А за тебя все делает Большой, Могучий, ну давай так уж и скажу, Бог, и если это делает Бог, как же ты можешь Ему сопротивляться? Мы близко подошли друг к другу, и это уже были не мы. Я был не я, и она, пойми, была не она. Мы были две силы. Сила и сила. И сила, что выше нас, сплела нас. Мы обняли друг друга, так крепко, дух вон! И у нас были не лица, родная! Музыка. Не губы, нет — музыка! Мы текли, и звучали, и стонали, и смеялись. Мы, знаешь, куда забились? В темный угол, за самый последний ряд. Я с себя что-то такое стащил, она с себя сдернула тряпки, но это, знаешь, все неважно. Голые, одетые — неважно. Мы и так были нагие, перед Богом. Каждый человек нагой. Когда любит, когда исповедуется. Я вот сейчас перед тобой тоже нагой. Пойми это. Понимаешь? Ну и хорошо. Это хорошо. Это была даже не любовь. И никакое не прелюбодейание. Не соитие мужика и бабы... не случка под кустом. В том, что происходило тогда, не было ничего грязного, гадкого, не было соблазна. Все было чисто, чистейше. И я так дрожал! Я не понимал в тот миг, что я делаю! Что совершаю! За меня все вершили! За меня — созидали! А я был кирпич! Ну, камень такой, и меня клали в кладку! И обмазывали бетонным раствором, чтобы намертво я схватился и к великой стене приклеился! К какой? А к самой великой! Которая весь мир защищает! И если ее взорвут...

Что молчишь?

Опять этот шепот, чуть слышный. Только бы, слушай, мне воздуху хватило, договорить. А то я задыхаюсь. Вот возьму и задохнусь сейчас, и умру. Не умирай. Не умру. Я раньше срока не умру. А старость еще далеко. Далек. А она была так близко. Кто —

она? Благодать. Я обнимал ее. Целовал. Я был в ней. Я умирал и опять рождался. Ты прости, что я так говорю. Я не могу это скрыть от тебя. А со мной ты не умирал? И не рождался? Как ты — со мной? Я не знаю, родная. Не знаю.

Кто-то высоко, в заповедье, а может, за расписанным цветами мороза окном, медный и страшный, звонко и громко ударил в медные страшные тарелки. Милый! Кого хоронят? Гения? Музыку?

Он и правда ничего не знал. Как-то надо было завершать исповедь. Родная, положи руки мне на голову. И скажи: я тебя прощаю. Тогда я буду знать, не знать, а чувствовать, что все хорошо. Что все вернулось. Я не могу. Не можешь? Я тебе говорю все, как есть, как было, а ты не можешь меня простить? И не сможешь? Никогда?

У меня горе, тихо прошептала она. И я теперь с этим горем буду жить. Лучше бы мне умереть.

Никогда не говори так, милая! Никогда! Мир слишком хорош, чтобы хотеть из него уйти. Люди в войну, в голод тоже испытывали горе. Теряли родных. Сами умирали. И все же они очень, очень хотели жить. Я тебе изменил, да! Но это же ничего не значит! Почему ничего не значит? Потому что я люблю! Кого? Меня? Тебя! Кого же еще!

А может, после той ночи ты любишь ее? И не можешь забыть?

Забуть — не смогу! И — люблю! Да! Тоже люблю! Но я ее люблю не телом, не сердцем. Не собой! А — тем, что надо мной! Вверху! Звуками! Музыкой! Она моя музыка! Но я больше никогда, никогда не сыграю ее! Понимаешь? Понимаешь?!

Она наклонила голову. Это означало: понимаю. Ее гипсовые, ледяные глаза стали почти зрячими. Ему показалось: вот, вот смотрит она! Вокруг них, белым молоком в грубой кружке, стояла тишина. Тишина — это было так прекрасно. Вместо речи, голоса, шепота, музыки — вдруг — тишина. Тишина лучше всякой музыки. Даже самой красивой. Потому что в ней, в тишине, вся музыка мира. А еще в ней вся музыка, которой мы на земле не услышим никогда. Нам ее сыграют за гробом.

\* \* \*

### **Gran cassa**

Великан. Бас-бочка. Турецкий барабан.  
 В любой праздник — удар, еще удар.  
 Барабан отбивает отмеренные тебе дни.  
 Праздник или беда? Все равно.  
 Мне уже — все равно.  
 Со мной — моя музыка. Мой четкий, грозный ритм.  
 Мое барабанное, военное время.  
 Время между двумя великими войнами.  
 Без барабана — нельзя.

*(Гастроли Златы в Америке.)*

Злата выбила из администрации эти гастроли. Себе, ухмыляясь, шептала: копытом выбила.

Прекрасная дорога, не будь ко мне жестока! Сколько дорог уже за спиной! Твои дороги — твои крылья. Ах, как романтично. Надо лететь, такого-то числа, во столько-то рейс, и все. И больше ничего. Что ты должна продумать перед отъездом? А о чем ты думаешь все время? Ах, не хочешь думать об этом. Отталкиваешь это от себя. Ну, давай, давай отталкивай. Все равно ты там сделаешь, что хочешь. Ты же всегда делаешь, что хочешь.

Аплодировала великой Одинцовой: она снова спела Кармен. Шептались: ее испанский возлюбленный погиб, глупо и страшно, его забодал бык. Коррида, она такая. Это война. Ты тоже летишь на войну. У тебя своя коррида.

Умер муж у Одинцовой, прекрасный дирижер, и вот погиб любовник в Испании. Смерть! Жизнь! Это надо петь. Всегда.

Самолет нереален. Он кренится, ныряет в воздушные ямы, его трясет, как в лихорадке; все это нереально. Чужой ложенный аэропорт, он тоже ненастоящий. А что здесь настоящее? Отель «Хилтон»? Она остановится в «Хилтоне». Здесь живут звезды. Она — звезда? А может, она просто приبلудная нищенка и только притворяется звездой? Она — ненастоящая?

Я вам всем покажу себя ненастоящую. Я за эту ненастоящую — вас всех растерзаю!

Такси причалило к подъезду. Она расплатилась, вышла из машины и ущипнула себя, чтобы стало больно; чтобы поверить: она в Нью-Йорке.

Полно, Нью-Йорк ли это? Может, она грезит, спит наяву?

Рука ныла от озорного глупого щипка, под кожей расплывался синяк.

Говорила себе, принимая с дороги душ: все ерунда, выеденного яйца не стоит, все бутафорское, да, я это знала давно, и этот чертов отель, и этот душ, и завтра завалят после спектакля настоящими цветами, а будто ненастоящими, бумажными, как на похороны. На чьи? На ее? Это мы еще посмотрим.

Не спала. Вынула из чемодана клавир. Глаза бегали по нотным строчкам. Ноты, букашки, мурашки, тайные письма. Кто вас выдумал? Зачем люди вами забавляются? Превращают вас в пьяные звуки? И плачут над теми звуками, и хохочут, и бесятся от ревности, и умирают от огромной боли? Письмена... иероглифы... царапки, шумерская клинопись... бешеные детские рисунки, древнее, чем вся на свете боль...

Бросила клавир на пол. Погасила светильник. Закрывает глаза. Перед глазами выросла зимняя Москва, завихрилась метель меж домами, в узких, как коридоры, переулках. Старые здания опасно сдвигались, снег выл и стонал в ущельях, в московских фьордах. Она спрашивала себя: Злата, зачем ты живешь? Чтобы петь? «Живу, чтобы жить!» — хотелось ей заорать самой себе. И она знала: это неправда.

Она в полусне, полуяви шла по зимней Москве, и она знала, куда ей надо попасть: в ту жалкую, милую церковку Воскресения Словущего на улице Неждановой, по старинке — в Брюсовом переулке, где они с ученицей Галькой подрабатывали, пели на клиросе. Надо ей туда, и отец Варсонофий жив, не убит. Он-то ей скажет, как надо жить! И что сейчас ей надлежит делать! Попробуй признайся ему, что ты хочешь здесь сделать. Ну, исповедуйся. Он тебя наотмашь по лицу хлестнет. Такую пощечину залепит — голова загудит. И Христос, говорили, бил торговцев в церкви — плетью, жестоко.

Москва заметала ее, призрачно идущую, щедрой метелью, она почему-то прошла мимо церковки, вышла на Тверскую, а там!.. Круговерть, завируха, вьюга, горностаи, юлит, сворачивается в колечки и хищно прыгает на редких прохожих, и звездный, лучистый белый ветер в синей сливовой тьме сбивает с ног. Скользко! Вечная зима! В России вечная зима, а как прекрасно жить в вечной жаре! И вечные апельсины; и вечное море; и вечно плывешь, взмахивая голыми руками, сама вечная, смерти нет.

Она все шла по зимней улице Горького, по старинке — Тверской, все шла и шла, туда, где сквозь белую занавесь маячили древние красные башни. Эта площадь, она видывала виды, вот и ее еще раз увидят; вот и она увидит ее еще раз, а хоть бы и во сне. Прилетит — увидит. А может, уже не прилетит! Может, ее тут схватят, свяжут ей руки за спиной. Брось, кто это сейчас руки за спиной связывает! Это только в опере! Сейчас — наручники. Щелк, и все. А ты достойна такой почести? Ее достоин любой, кто посягает на Божий промысел. А что, ты и правда веришь в Божий промысел? Ты что, правда веришь — в Бога? О, не смей сама себя! А просто иди, иди в снежной круго-



верти туда, где стоят твои кровавые башни! И на них светятся в ночи Красные Звезды! Какие они прекрасные, жесткие, резкие, властные! Ты тоже хочешь быть такой, как они, но тебе до них — далеко!

Героиня, звезда... нигде и никуда...

Она уснула в номере отеля только под утро. В Москве солнце клонилось к вечеру. Новый Свет плох тем, что у тебя крадут полсуток; полсуток долой, и ранний отбой. Она в Нью-Йорке уже в шесть вечера валилась с ног, ибо в Москве — это три часа ночи, а в семь начинался спектакль.

Спектакль, он же тоже ненастоящий, это бред, сон, фантастика, это зеркало всего того, что у нее глубоко внутри, под ребрами, под лопатками. Это ее кровь, и ее все хотят пролить; а она хитрая, она не дается. Вокал, он зачем? Лишь затем, чтобы тебе к ногам, когда ты, как заводной манекен, кланяешься у слепящей рампы, бросали на сцену цветы. И посланная девочка или приставленный к сцене, рабочий мальчик быстро и робко собирал их и клал себе в сгиб руки. И тащил за кулисы гигантский букет; а зал сотрясался в овациях, и ты снова смотрела далеко в зал и не видела людей, а только заученно улыбалась, вся мокрая как мышь, и кивала на все стороны ученой фарфоровой, гладко причесанной головой, как фарфоровый китайский бонза, и тихо презирала всех, желая одного: горячего кофе со сливками, снотворное и в постель. А еще разговоры. А еще славословия. А еще репортеры. Вспышки фотокамер. И все хотят с тобой себя запечатлеть. Тебя, но главное, себя. Себя — с тобой. Ты модна. Ты в фаворе. С тобой почетно сняться на фото. А потом опубликовать его в глянцевом расхожем журнале. И всем, знакомцам и незнакомцам, тыкать пальцем в снимок: глядите, глядите! Это я и великая Злата!

Человечек, он же ненастоящий. Он — марионетка. Он прикидывается подлинным. На самом деле он — палимпсест. С него давно соскоблили оригинальную рукопись, выжгли, срезали, вытравили кислотой драгоценные письма. Какую строкой ты светишься в родной партитуре? Ее больше нет. Сожгли. И тебя записали заново. А ты — механическая кукла. Пианино механическое. Однажды она слышала такое пианино: на даче у Шалевича. Маэстро забавлялся. Он смущался, радовался гостям, не знал, чем порадовать их. Удивить! Поразить в самое сердце! А его жена крутилась тут же. У них у всех под ногами. Гражданская? Или расписались? Гражданская, без штампа в паспорте, это же не жена, а любовница. Подстилка. Ева, собака! Подлизалась-таки! А врала, что ее сосватали. Ну, может, и присватали. За великого гения, старика с вытребенками, никто ведь не хотел идти. Не бежал никто за него замуж. А вот Евка отважилась. Ева сожрала яблоко с дерева! Дрянь такая! А ты, ты-то, Карменсита недорезанная, ты осмелилась бы выйти за Шалевича? И лизать ему пятки? И печь ему пироги в духовке? Евка не музыкант. Она оказалась просто баба. Баба, которой надо — приклеиться к мужику! Да еще к знаменитому! Да еще к богатому! Евка, псина, наслаждайся, катайся как сыр в масле! А сегодня я — Кармен. И мне на тебя, честно, плевать.

*Кармен, тебя я обожаю, Кармен, тебе я все прощаю.* Зря Хозе надрывался. Все зря. Все равно — вот она, наваха. И все только этого момента и ждут, убийства. Людям нужно настоящее. Они не хотят, откровенно говоря, поддельного картонного ножа и клюквенного морса вместо живой крови. Они предпочли бы настоящее, острое лезвие. И чтобы выблеснуло в свете софита. И вошло под ребро мягко, глубоко — отточенным, затверженным движением. Хищно, мстительно. В жизни есть только смерть, говорил Верди? В жизни есть только месть. Это вернее.

Злата всегда рассчитывала, как в последней сцене лучше упасть. Надо так брякнуться, чтобы народ в зале понял: да, Кармен вправду убили. И привстали люди из кресел, и озорную Карменситу пожалели: ах, как же так, такую красавицу! И тут же

обвинили ее: а не путайся со всякими тореадорами! И тут же оправдали: а что, женщины нельзя уж и влюбиться?! Заново — полюбить! Надоел Кармен этот слюнтяй Хозе со своими чувствами! Ей захотелось — мужчину! Смельчака! Мужика! Вождя! Пусть вождя быков, но все равно вождя! А Хозе, он что? Послушный солдат. Делает, что велют! Что прикажут!

Хозе выкрикнул последнюю, перед тем как заколоть ее кинжалом, фразу, а она вздернула голову и выплюнула ему в лицо: «Нет! Не уступлю никогда!» Он занес бутафорский нож и быстро приставил к ее ребрам. К корсету, чуть пониже часто дышащей груди. Злата томно прикрыла глаза, вскинула руки и начала падать.

Падала она медленно, расчетливо, и наконец упала.

И лежала на досках «Метрополитен-опера» без движения, бессильно раскинув тощие руки.

Ах, Москва, метель-завируха, завралась ты и всех заврала, голос-алмаз, голос-изумруд, все равно все умрут, голос-аметист, только не гляди вниз, голос-труха, ну давай пусти петуха, голос-Кармен, жизнь бери взамен! Ах, Москва, и ты теперь москвичка, русская птичка, где брели, по колено в грязи, твои предки, такие вот птички пели на ветке! Ах, Москва, улетит птичка от тебя далеко, а ты ей все будешь сниться, сниться! Музыка — это сон. Отразись в музыке! Музыка — это зеркало. Ты отражаешься в музыке в полный рост, и там, в зеркале, ты можешь собой всласть любоваться, пока не грянет буря. Какая буря? А все такая! Буря?! Пусть только попробует. Я — бессмертна! А вот она, она, дрянь, шавка, ничтожество — смертна!

...Что ты несешь, лежи уж спокойно, без мыслей, ты же — умерла...

...Она не чувствовала, как ее тянут за руку, поднимают с пола, надо стоять, надо смотреть, надо видеть, слава богу, хоть петь не надо, и вот они, цветы, летят, полет цветов, а как же, не без этого, пусть бы попробовали не бросить ей цветы на сцену, хотят к ногам, а попадают в юбку, в лицо, и она вынуждена их ловить, протягивать руки, а это смешно, будто она ловит падающих с насеста кур в курятнике, нет мыслей, есть только зеркало, это зеркало — публика, надо отражаться в ней, надо здраво оценивать свое отражение, не делать лишних потешных движений, не выглядеть посмешищем, быть всегда, вечно примадонной, улыбаться горделиво, кланяться изящно, какая ты примадонна, это просто зеркало кривое, ты худышка, тощая дочь генерала, тебя все детство держали на здоровой диете, отец будто готовил тебя на войну, будто в солдаты отдать хотел, мать рыдала, но не прекословила, ты спала на волосяном матрасе и на плоской подушке с верблюжьей шерстью, под тощим, как ты, одеялом, и все это воняло козами и верблюдами, а будили тебя в пять утра и тут же под холодный душ, а то и на снег выгоняли, с ведром воды: лей на себя! И ты поднимала тяжеленное ведро, голая, босиком на снегу, синяя, дрожащая, жалкая, не ребенок — куренок, и твои красные на морозе пальцы крепко вцеплялись в дужку, не дай бог уронить, отец излупит, и выплескивала ведро на себя, высоко держа над затылком, как чертову штангу, да, ты поднимала, ты лила, ты проклинала. Но ты — закалялась.

И закалилась! Закалилась, проклятие!

Зеркало! Отрази мое счастье! Что?! Не можешь?!

Счастье! Тогда приснись мне!

Счастье... поклон ниже, ниже, гни тощую шею... счастья нет... это же пустота...

А когда же ее избаловали? Когда — заласкали?

Время сдвинулось вбок, сложилось, как меха баяна. Ни к селу ни к городу, кланяясь, лоя букеты на лету, она вспомнила ученицу Гальку. Эх и хороший голосишко девка имела! Да вот не повезло. Не всем везет. Была — и сплыла; исчезла. Мало ли кто и когда исчезает с лица земли. А вот стояла бы так же, как она, на чужой сцене, и кланялась, и не могла ни говорить, ни думать.

Зато эта. Эта! Богата. Знаменита. Она здесь. С ним. И он здесь. С ней. Ты же сама все так подстроила! Да. Сама. И не жалею. Нет! Жалеешь! Жалеешь, если хочешь заглянуть в черное зеркало, куда заглядывать нельзя!

Хорошо, слепуха тут воет на сцене без златовласки. Без Евы. У нее другой поводырь. Ева узнала бы тебя на раз-два. Тут же разгадала твой маскарад.

Собрали все цветы. Отзвучали все рукоплескания. Злата сидела в гримерке и тупо глядела в огромное зеркало. Ей казалось: это венецианское зеркало. И она в Венеции. В отеле около Сан-Марко. И надо только выйти на узкий тротуар, чтобы вдохнуть сладкую гниль черно-зеленой воды и ощутить себя счастливой. И свободной.

Ты помни: никакой свободы нет. Есть только пустота. И ты должна ее заполнить. Голосом. Волей. Злобой. С собой.

А ты ярче солнца. Ослепительней! Тебе карты в руки.

*Уж если раз ответ злоеущий карты дали... напрасно их мешать...*

Вот она спела Кармен. В сотый раз. И сколько еще будет у нее Кармен? Двадцать, сто, тысяча? А не все ли равно? Когда-то их не будет: Кармен, Амнерис, Азучены. И тебя вместе с ними. Ты шагнешь туда, в зеркало. В сон. В свой сон о счастье.

К лешему счастье!

— Госпожа, одевайтесь! Авто ждет вас у подъезда!

Авто, о, если бы только авто. Люди ждут! И людей надо развлекать. Забалтывать, охмурять веселыми разговорчиками, шутками-прибаутками. Обвораживать улыбками, как смеялась сама над собой усталая от жизни и любви великая Одинцова.

На другой день она долго стояла перед зеркалом. Старалась одеться как можно проще; выглядеть так, будто она не оперная дива, а уборщица из отеля. Как назло, простые, невзрачные тряпки, что она приготовила дома для этой цели, она забыла на диване в своем особняке. О да, теперь у нее тоже был особняк, как у великой Одинцовой, как у них у всех, у великих. Теперь она тоже была великой. Собственное величие часто казалось ей пушинкой, пшиком: дунь — и полетит по ветру, и улетит навеки. Она вышла в коридор, позвала горничную. Объяснила, что ей надо. Горничная сделала книксен и убежала. Быстро вернулась, несла в руках сверток. Это для вас, миссис! Мисс, холодно поправила горничную Злата.

...Нет. Хватит врать себе. Никакого особняка у тебя нет. Ты просто бредишь им. Ты много чем бредишь. И никто тебя не остановит.

Ты сама подделываешь свои мысли. Подделываешь свой обман.

Это так затягивает.

Все пустота. Пустота отражает пустоту. Пустота подражает пустоте. Нет никакого обезьянства, нет подделки; подделка подделывает подделку, и попробуй угадай, где твоя смерть, где чужая. Все смерти равны! Никого и ничего нельзя достоверно опознать. Она поет, как Одинцова? О, великолепно! Да нет, вы все перепутали, это великая Одинцова поет, как она! Вот оно и счастье, а ты боялась, что его нет. Оно просто точь-в-точь повторяет, копирует чужое счастье. Бывшее до тебя, когда-то. С кем-то, кого никогда не узнаешь.

Что творится в мире? А, кто-то кому-то объявил войну. Где-то прошла премьера жуткого фильма очень знаменитого режиссера; о чем, ах, о страшной болезни, что затопила всю землю. И остался жив лишь один человек. Один человек на земле! Какой поворот, как это придумано. А может, и не придумано. А все сбудется. Будет на самом деле. Что такое самое дело? Вот вчера она в самом деле пела Кармен? Или ей это приснилось? А что еще случилось? Кто-то где-то взорвал то ли рынок, то ли торговый центр. Люди время от времени убивают друг друга. Люди убивают даже себя, что ин-

тересно. Себя — это до того загадочно, что никто еще не ответил на этот дикий, над телом самоубийцы, вопрос: почему?

Почему ты это сделал? Почему ты сделал то?

Ничему. Просто так. Могу же я что-то сделать просто так.

Не за деньги. Не из удовольствия. Не по чьей-то страстной или жалкой просьбе. Не в службу, не в дружбу. Не из корысти. А просто так.

Просто так? Но ведь просто так — это уже пустота. А у любого действия есть причины!

Нет. У меня никаких причин нет. То, что я сейчас сделаю, беспричинно.

Просто так.

Из такси около «Метрополитен-опера» выползла, смущенно отряхивая сатиновый подол, тощая нищая чернявая бабенка, должно быть служанка-мексиканка, и странно-богато расплатилась с водителем. Таксист вытаращился, бормотал вслед полоумной мексиканке благодарности.

Она не хотела идти в зал. Для этого надо было покупать дорогой билет; а она почти все деньги отдала таксисту. Оставила на обратную дорогу в отель. Она все и так представляла себе: вот сейчас она выходит, белокурая Изольда, ей самой всегда, когда она Изольду пела, с трудом напяливали белокурый громоздкий парик, вот сейчас они с Тристаном жадно выпивают любовный напиток, вот он бросает ее на ложе, вот Изольда, смиренная овца, навывтяжку, как нашкодивший матрос, стоит перед королем Марком. Она изменила мужу, а признаваться не хочет. Кто, и когда, и кому хочет признаваться в подлянке?

Она так и стояла перед театральным подъездом, машины бешено шуршали и гудели вокруг, Нью-Йорк жил своей странной, призрачной жизнью, да все города, где она пела, были призраки, она не могла вспомнить ни одного настоящего; чтобы живая кровь в нем текла, живые люди по улицам бежали. Все только притворяются живыми. А что, разве все они мертвы? Нет. Они между жизнью и смертью. Их тела живы, а внутри у них пустота. И смерть. И они так искусно притворяются живыми! Чтобы никто ничего не понял. Ни ближний, ни дальний.

Стояла, тосковала, и тут к ней подошли. Сзади. Взяли за локоть. Она дернулась и обернулась. Важный господин в котелке грустно держал в руках контрамарку. Возьмите! Я вижу, вы хотите попасть туда. Он указал рукой в лайковой перчатке на парадный подъезд. Злата вздрогнула и осторожно отвела руку дающую. Нет! Спасибо! Господин в котелке грустно улыбнулся и затолкал жалкой мексиканочке контрамарку в карман бедного плаща. Нет! Идите! Вы развлечетесь! Вагнер, у нас так редко его ставят! Да вы в опере, возможно, побываете впервые. Не отказывайтесь! Это такое наслаждение! Такое чудо, когда... люди поют! Музыка! Счастливее музыки нет ничего в мире. Только молитва! И любовь. Да музыка сама — молитва и любовь. Вы все свои горести, клянусь, забудете! Подите, развлекитесь!

И господин в котелке повернулся, высокий, нескладный, похожий на великанский костыль, и медленно побрел прочь, чуть шатаясь, как будто выпил слегка, и серый мышиный плащ разлетелся в стороны старыми габардиновыми крыльями, бил его по коленям.

Мексиканочка, до чего коверкает английские слова.

Она сжала билет в кармане. Поднялась по ступеням и еле отворила тяжелую, как жизнь, дверь.

...Зал затаил дыхание. Она опоздала. Всю оперу пропустила. Уже финал. Она видела на сцене Тристана. Он, некрасиво толстый, пел божественно. Лег лицом вниз на доски. Так лежал. Вошла Изольда. Злата сжала кулаки. Ей была дана сила глядеть и слушать.

И она глядела и слушала. Хотя можно было бы заткнуть уши и закрыть глаза. Голос Изольды становился воздухом: она им дышала. Глазами: она ими смотрела. Вот он без усилий сломал тайную преграду внутри нее, она думала, железную, а оказалось, хрупкую, и слезы потекли сами. Это ненастоящие слезы, кукольные, слепо и жестоко думала Злата. И все глядела, глядела на сцену.

Сцена. Это тоже зеркало. Кривое: когда роскошное, когда уродливое. Кто как в нем отражается. У кого на что хватает силенок. Изольда выпускала из себя голос, золотую птицу, и никому было ее не поймать. Зачем она пела? Зачем они обе поют? Зачем люди поют? Мистер в котелке сказал: люди поют, это чудо. Чудо? Она как выжатая мокрая тряпка после оперы. Никакого наслаждения. Никакого чувства: вот я сделала большое дело! Порадовала людей! Да просто измучилась. Просто выкрутилась наизнанку. И впору лечь и испустить дух. Жить неохота после спектакля. А вот она, она — хочет жить! Она питается кровью людей! Горящими глазами, пусть она и не видит их, аплодисментами! Криками восторга!

А разве ты не питаешься? Зачем же тебе тогда все это? Брось! И войди в зеркало! Внутри! В пустоту! Перестань носить ее в себе! Принадлежи ей! Пусть она тебя — в себя вберет!

Изольда раскидывала руки. Изольда обнимала весь мир. Тристан лежал перед ней, бездыханный, а она пела. Так устроена опера. Опера — это жизнь, но там все время поют. И ничего больше не делают. Опера — копия жизни. Отражение жизни. Как любовное искусство. Подделка! А жизнь — сама подделка. Жизнь подделывается под небо, под землю. Под Бога! Да! Жизнь — подделка Бога, и мы все верим, что мы и жизнь созданы по образу и подобию Божию! А кем созданы? Им? Богом?!

О-о! А можно в это не поверить?

Отец Варсонофий верил в Бога; и его убили. Может, убийство — лучший выход? Может, убитый наконец-то счастлив?

Если жизнь — подделка под Бога, а опера — подделка под жизнь, то зачем же люди приходят сюда, в гулкие залы, и сидят тут три, четыре часа кряду, слушая бесполезную музыку? Эту девчонку, контуженную в азиатских горах, пулялку и стрелялку, общую подстилку, как еще вылюдилась-то, как не скурвилась? Ах, голос? Голос, говорите вы! Невелика честь, Бог наградил. Вот она, Ванда, еще, как дитя, свято верит в то, что поет не пустотой и не в пустоте. А Злата уже не верит.

Партитура развернулась, ветер перелистывает ее страницы. Сквозняк. Нотные письмены мелькают. Дирижер старается, быстро, чтобы никто не заметил, стряхивает ладонью пот с лица. Ему жарко. Человек тут, в опере, и в оркестре и на сцене — как на пахоте; а что, этот ее муженек, виолончелист, тоже тут, снизу, из ямы, взирает на женушку? Восторженно! Подобострастно! Да он, и раньше насквозь видать было, подкаблучник. Ну уж мне такого даром не надо.

Она, Злата, сейчас на сцене? Или эта, гнусная слепая полька?

Внезапно обнял жаркий страх: что она делает, зачем? Я же еще ничего не делаю! Нет, делаешь. Ты уже здесь, и ты уже все делаешь. Никто тобой не дирижирует. Ты сама себе дирижер.

Изольда умирала долго и торжественно. Пела сладко, заоблачно. Не слышать бы во век этот летящий голос! Это не голос. Ангел плачет. В зале все замерли. Как умерли. Не дышат. Изольда умирает, и это так счастливо.

Так радостно, даже представить невозможно, что на земле есть такая радость.

Человека нет; от него остается один голос.

Так и будет; там будет, тогда, а где и когда, мы не знаем.

Она не стала дожидаться последних нот и оваций. Зачем ей глядеть в зеркало чужих восторгов. Восторга на самом деле нет. Есть только его бедная копия. Люди хлопают

в ладоши, разевают рты, кричат. Так они изображают любовь и восхищение. Так принято. А за этим — пустота.

Она все знала, что будет и как. Вот сейчас они выйдут, он и она, из служебного подъезда; а она тут и ждет их, среди толпы, зевак и поклонников; выйдут, и за ними выкатится чертова прорва людишек, побежит за ними по пятам, а навстречу им рванутся те, кто ждет на улице, потрогать, прикоснуться, пожать руку, послать воздушный поцелуй. Вот они выходят. Она без цветов в руках — за ней несут букеты и корзины чужие люди. Он без виолончели — виолончель несут за ним, ах, какие услужливые. Толпа на улице волнуется. Волной плеснулась к их ногам. Злата быстро оглянулась. Вот машина, «шевроле», ждет их; так же как ее самое вчера ждал черный «бьюик» у подъезда. Важно не прогадать. Не пропустить, не опоздать. Вот тут правда важно не опоздать.

А мыслей не должно быть. Никаких. Пустота.

Только действие. Работают руки и ноги. Головы у тебя сейчас нет. Нет.

Злата опустила руку в карман. Пусто. Ах да. Вспомнила. Есть все-таки у тебя на плечах голова. Простецкая сумчонка, на зашелке. Она раскрыла сумку, и запустила туда руку, и шарила, и нашла. Нацепила ремень сумки на плечо. Руку упрятала за пазуху. Пробилась сквозь толпу. Сухая, юркая. Выросла перед Вандой из-под земли. Ванда странно вздрогнула. Слепые глаза будто глядят, будто и впрямь видят! Муженек крепко держал Ванду под локоть. Злата изобразила улыбку и радость. Она могла так хорошо играть! Любую роль! Все что хочешь спеть! Одну руку держала за пазухой, и чудилось, у нее рука на перевязи, больная; другую откинула в сторону, изображая жажду обнять, расцеловать. И губы сложила, как для поцелуя. Ванда повернула голову к мужу. Незрячие глаза, чем они видели будущее? Чувством? Дыханием? Слава во все глаза смотрел на Злату. Он не узнал ее. Что произойдет, он мгновенно понял сердцем, прежде чем понял умом. Злата кинулась Ванде на грудь. Быстро выдернула руку из-за пазухи. Нож она всаживала умело, по-бандитски, снизу вверх — так урки вонзают под ребро острую финку, медвежье лезвие.

Быстро сунула нож в крови в карман плаща. Попятилась. Ускользала, утекала. Распалкивала людей локтями, коленями. Толпа теснее сомкнулась, задние напирали. Что, что случилось! Что там! Скажите! Передние орали. Ванда стала оседать на асфальт. Раздался оглушительный свист. Люди сбивались в орущую кучу, верили и не верили. Всем хотелось быть свидетелями. Все хотели искупать руки, хотя бы палец в невинной крови примадонны. Древние люди. Древнее время. Древняя, страшная музыка. Гудели полицейские машины. Выли сирены. Слава подхватил Ванду с тротуара и прижал к себе. Вымазался в ее крови. Плакал. Тоже кричал.

Не оглядывайся. Там, сзади, пустота. Тебе незачем на нее глядеть. Ты останешься жива. Никто и никогда не узнает. Только быстрее. Быстрее.

Она зашла в уличный туалет. На счастье, там не было никого. Она отмыла от крови нож, застирала рукав, полу и карман плаща. За нищенскую одежку кровью заплачено. Она выбросит ее. Не в мусоропровод отеля. Нет. Это слишком опасно. В любой мусорный бак по дороге. И подожжет. Зажигалка с собой.

Бежала по улицам. Одернула себя: не беги, ты привлечешь внимание.

Забегала во двор. Темень, окна светятся. Отыскала глазами контейнер. Встала под каменный навес. Стащила с себя служанкино тряпье. Связала узлом. Бросила в контейнер; швырнула туда нож; подожгла. Постояла немного, поглядела, как горит чужая жизнь. Повернулась, пошла. Не оглядывайся назад. Там горит пустота. Подделка. Ты

просто немного побыла бедной служанкой. А теперь ты снова богатая звезда. Закончилась твоя опера. И твой самолет сегодня ночью.

Слава наклонялся над женой. Он все время, каждую секунду, наклонялся над ней. Наклонялся над ее жизнью. Ему казалось, она жива. Живет. Дышит. Он наклонялся все ниже, касался лицом ее лица. Джильда, ее закололи. Кармен закололи. Джульетта заколола себя сама. Изольда... Что Изольда? Над Изольдой надо наклониться ниже. Еще ниже. Она же еще дышит. Она еще поет. Она молча поет. Такое умеют немногие. Важно молча петь. Все остальное чушь. Пустота.

Она не умирает, не думай: она просто копирует свою смерть. Подделывает ее. Поет. Молча поет.

Она же так хорошо знает, изучила вдоль и поперек, что такое смерть на сцене.

Поэтому в жизни смерти у нее просто не может быть.

Он наклонялся над ней в машине экстренной помощи, шептал невнятно: emergency, emergency, наклонялся, когда бежал рядом с носилками, а санитары катили носилки на колесах вперед, все вперед, и Слава не поспевал за ними, подворачивал ноги, чуть не падал. Убили! Это вокруг кричат или это он сам кричит? Убили! Лучший голос мира, кричали рядом, вы знаете, кого зарезали? так это же дива, прима, это такое имя! Имя — убили!

Он наклонялся все ближе, лицом к лицу лежал на ней, когда носилки на миг застыли в коридоре, и санитары побежали в операционную, и оттуда выбежали врачи, уже в масках и халатах, как в военных защитных костюмах; будто объявили химическую войну, и надо защититься, а еще лучше не маски, а противогазы, а он прижался лицом к ее лицу и пытался услышать, дышит ли, и ему казалось: она теплая, она не остывает, нет, она еще живет. Внутри ударял в ребра большой барабан. Его оттащили, носилки вкатили в белые ледяные двери, лед сомкнулся, он сел на странную лавку, обитую холодной гладкой кожей, мимо него бежали люди в халатах и масках, кто в синих халатах, кто в черных, кто в зеленых, и он подумал: все нарядные, как на карнавале. Он наклонялся к своим коленям, почти касался их лбом, хотел свернуться червем, стать снова плодом в утробе, никогда не рождаться, там и умереть, во чреве. Зачем Ванду убили? Что и кому она сделала плохого? Она ангел. Она просто поет! И больше ничего! Он наклонялся к своей собственной смерти, а она оказалась так близко, так рядом, ему стало страшно и весело, и горечью наполнился рот, а где же Челла, нету Челлы, моя Челла, где ты, где я тебя оставил, где покинул? А зачем мне жизнь на земле без жены? И без Челлы? Может, я уже один? И все кончено, все?

Он наклонялся ближе к чужому каменному, чисто вымытому полу, слишком гладкому, как черный лед; наклонялся и видел через пол землю, он наклонялся ближе к земле, он хотел прислониться к ней щекой, будто к лицу жены, а земля мерцала далеко и страшно своим печальным, вспаханным теплом; он наклонялся и вот уже падал, его схватили чужие руки, ему в рот совали лед стакана с горьким питьем, и он послушно, как теленок, без мыслей, пил, и горечь стекала у него по подбородку туда, вниз, на далекую землю. Он спросил: моя жена жива? Перед ним стояли люди, они молчали. Он повел по их лицам слепыми глазами. Он их видел и не видел. Он ловил излучение правды, исходящее от их ледяных лиц. Поймал. Понял. Не поверил. Раскрыл рот, будто воздуха глотнуть, и крик сам вышел из него. Он забился, как рыба в сети. Замолчал. Что толку было кричать. Пусть ангелы в небесах кричат. Ванда, ангел мой. Прощай. Почему прощай? До свидания. Мы же все увидимся на небесах. Не обманывай себя! Никаких небес нет. И никакой будущей жизни нет тоже. Да и этой жизни нет. Нам чудится, что мы живем. Как ты докажешь, что жизнь — это жизнь? Ну, как? Сегодня ты жив, завтра нет. Внутри каменных кубов, где ты живешь, поселятся другие. И тоже будут

верить, что живут. И тоже в свой черед исчезнут. А дома обрушатся. Или их взорвут. Или в новой войне расстреляют. Так зачем кричать? О бесцельной жизни можно только петь. Голос — вот что ценно. Голос, он вечен, потому что хрупок. Он смертнее, чем любой смертный. Он — голубь. Нежный и бедный. Его выпускают в небо. И он летит. Улетает.

Его подхватили под руки, привели в маленький одноместный бокс. Раздели, уложили. Принесли капельницу, воткнули ему под кожу иглу. В него медленно вливалась ненужная, поддельная радость жизни. И он уже улыбался. Над собой. Над врачами. Над смертью. Повернул лицо на подушке. Он наклонялся, все ниже и ниже, с небес, в которые не верил, наклонялся над самим собой.

И Челла пела рядом.

\* \* \*

БЕТХОВЕН. СОНАТА ДЛЯ ФОРТЕПЬЯНО ДО-ДИЕЗ-МИНОР,  
НАЗЫВАЕМАЯ «ЛУННОЙ»

...Ты прости, прости меня, милый, мало и плохо тебя я любила. Ты прости, я стою, мой родной, мой живой, у края моей могилы. Ты опять не со мной. Твоя жизнь — стороной, твоя радость — звездой постылой — на дне бутылки, в боли и в мыле, на час, на миг, не станешь старик, старухой не стану, зайду в твой предутренний сон наудачу да спьяну. Ты прости мне, что плохо, несчастно тебя я играла; что не над клавишами твоими, беззубым ликом светясь, молясь, умирала; что пожизненным твоим нотоносцем счастливо не стала; что сердцем-младенцем, рыдая, завертывала тебя в одеяло — в овечье, верблюжье, волчье, да в какое придется, в твое зеркало скорбно глядела, как на дно колодца; что в пустыне тебя, лишь тебя пила большими глотками — а твоя музыка летала, плача, смеясь, между нами.

Это только старинная, гиблая, нежнейшая твоя соната — это только моя — за неверность тебе — расплата — это по твоей глухоте заглушаю мое рыданье — я иду к роялю медленно, страшно, как на закланье — я тебя заклинаю — останься, о, для всех людей останься навеки — мы, мой навеки глухой, на земле ведь одни человеки — а зверье и птичье нам лишь вторит солнечной, кровавой полифонией — а мы-то одни на земле и в небе, не с ними — а ты навсегда со мной, так судьба нотами записала — и мне музыки твоей было мало, всегда было мало — и я тебя, все тебя одного играла, играла, играла — в перекрестьях дорог, на пороге шального вокзала — во степи поземковой, где ветер воеет забытым волком — ты звучи под моими руками, звучи, ведь звучать недолго — я люблю тебя, милый, так, как раньше, в детстве, любила — через всю глухоту, слепоту, немоту, хромоту, до солнца, до самой могилы. <...>

\* \* \*

**Campanelli**

Глокеншпиль, карийон, колокольчики.

Колокольчики мои, цветики степные.

Широкие железные клавиши. А я-то думала — и вправду колокольчики; в форме церковных колоколов или полевых цветов.

Фортепиано, только клавиши стальные. Ледяные. Заледенелые.

Оркестранты дали мне в руки два молоточка и сказали: бей!

Я стояла посреди оркестра, как посреди людной площади в праздник, и понимала: надо бить.



И занесла руку с молоточком. И ударила.  
 Звон поплыл над оркестром, над залом. Над миром.  
 У меня по лицу слезы полились.  
 А мне в уши кричали: эй, что ревешь, с ума сошла?!  
 Какая чистота. Какая боль.

*(Смерть Славы.)*

Хоронить Ванду Слава полетел в Москву.

Москва встретила его чудовищной, лютой зимой. Морозы стояли такие — воздух трещал и рвался. Звенели стекла в оконных рамах. Музыка замерзала на лету. Городские птицы валялись на льду кверху брюшками. Голод, мороз, смерть, и опять все, кто остался жить, обречены на выживание. На то, чтобы приспособиться к чертову событию. К адову морозу.

Слава вошел в комнату к бабушке. Бабушка тихой белой мышкой скрючилась под одеялом. Прабабушки уже не было на свете: свет погас для нее. Ему об этом сообщили, он уже забыл как: то ли телеграммой, то ли позвонили. Холодно поцеловал лежащую бабушку в лоб, а слезы на одеяло закапали сами. Он не имел к этим слезам никакого отношения. Все вокруг текло и обтекало его, как остров, и он громоздился горой льда и стекла. Его можно было разбить булыжником. И хорошо бы. Он звонил, договаривался, люди приходили, он платил, платил, платил. Свинцовый гроб с телом Ванды лежал в гостинной. Проходя мимо гроба и не глядя на него, он раздувал ноздри. Принюхивался. Нет, тлением не тянуло. Труп накололи чем только можно, и свинцовые швы не выпускали наружу адский дух.

Слава садился в кресло и тогда уже исподлобья взглядывал на гроб. Его мертвенный серый, серебристый цвет будоражил его воображение. Ему хотелось этот гроб сыграть. Все на свете есть музыка, слух лишь к ней не привык. Слух привык к тому грохоту, скрежету и писку, который музыканты извлекают пальцами из своей меди, деревяшек, обточенной до гладкости зеркала слоновой кости. А гроб, он тоже звучит. Эта музыка не всем по зубам. Он сыграет. Вот сейчас.

Он выпрастывал из футляра Челлу, отчего-то она казалась ему мягкой, как лист одуванчика. Плавилась и таяла под его руками. За окном мело. Он начинал импровизировать и тонул в музыке. Там, в музыке, он свободно рыдал и жаловался, стонал и вопил. Она была его свобода, а он был ее пловец. Надо было переплыть свободу с берега на берег, чтобы изжить собственную мертвечину. Неправдашный мир обступал его, подбивал его на что-то стыдное, гадкое. Вынуждал к чему-то особенному; к тому, что он никогда не делал раньше. В стену громко стучали. Он не знал, что уже ночь. Ночь — это был заокеанский день. Соседи гневались. Далекий голос кричал: долго тут не было тебя, безумца! Слово «безумец» веселило его. Он шепотом повторял про себя: безумным сопутствует удача.

Зимняя тоска, и завтра похороны. Они не разрешают мне звучать. Они заставляют меня замолчать. Хорошо. Тогда я буду играть понарошку.

Он водил рукой со смычком над струнами виолончели, пальцами другой руки вцеплялся, впивался в дрожащие струны. Музыку нельзя было убить. Зарезать. Повесить. Она звучала и без звука. Он усмехнулся, неслышимо играя: теперь я понимаю Бетховена. Он слышал, не слыша. Поэтому ему было все равно, слышит он или не слышит. Музыка жила внутри него. В этом весь секрет.

Внутри Бетховен был настоящий. А для всех, кто бегал и прыгал рядом с ним в одном времени — маленький кудлатый безумец, бродивший по полям с листом нотной бумаги в кармане и с плотницким толстым карандашом в руке.

Да, они еще пили с ним, с безумцем, в харчевнях. Выпивали. В свое удовольствие. Что? Рейнское? Мозельское? А это идея. Не выпить ли ему? Завтра похороны. Он согреется. Раньше поминок выпивка, ну да это все равно. От мороза стены вскрикивают. Окна покрылись синим мхом инея. Какое счастье жить в теплой стране. Скучаешь ли ты по родине? Да! Да?

Он, шаркая тапками по полу, медленно пошел на кухню, распахнул засиженный мухами шкаф. Он не надеялся найти, что искал. И, о чудо, нашел. В углу, за жестяными круглыми банками, похожими на барабаны и литавры, он увидел горлышко бутылки. Вцепился ей в горло, как стеклянному гусю, и вытащил наружу. Еще одно чудо: это был французский коньяк, настоящий, из Парижа. Он, честно, забыл, что он же его сам и привез. Рюмку нашарил, протер полотенцем. Плеснул коньяка. К носу сначала поднес. Вдохнул глубоко. О, снова счастье! Какое счастье жить. И есть. И пить. И играть. И петь. И любить. Что ему из всех этих счастливых осталось?

Зимняя ночь и зимняя тоска. Ну же, глотай. Да не все сразу. Смакуй. Коньяк смакуют, в него дышат, как любовнице в лицо, им чмокают и вдыхают его, как запах розы, опять и опять. Только тогда его оценивают и от него пьянеют. Залпом пьют только водку.

Он не исполнил древний завет. Опрокинул рюмку в рот. Не почувствовал, жжет или ласкает, пьянит или отравляет. Может, не коньяк, а клопомор! Налил еще. Поглядел рюмку на просвет. Опять быстро влил в себя, будто коньяком тушил внутри себя дерзкий огонь. Музыка — безумием заливал. Жалким минутным наслаждением. Налил и третью. Ощутил жар в животе. Ага, пробрало. Поискал глазами: чем бы закусить. Открыл холодильник. Внизу, на нижней полке, стояла баночка черной икры, на крышке был нарисован аляповатый, изогнутый буквой «О» осетр и бежала надпись: RUSSIAN CAVIAR. Эту икру он покупал Ванде. Побаловать. Давно.

Все, что было до их изгнания с родины, было давно. И неправда.

А вот эта банка черной икры — да, правда, правда.

Он уронил рюмку из слабых пальцев на пол. Взял с полки банку. Она лежала в его ладонях, как убитый железный котенок. Больше не заведут волшебным ключом. И не будет механическая киска поднимать железные лапки. Сел около холодильника на корточки, скрючился. И вот теперь заплакал. Он плакал и выл, коньяк из глаз лился рекой, банка выпала из рук и покатила далеко, за грань мира, в щель музыки. Ее уже было не вскрыть никаким консервным ножом. И не убить. И не сыграть.

Ванду опускали в землю на Ваганьковском кладбище. Слава не видел народ, не чувствовал его колышущуюся скорбную массу; он думал, людей будет немного, а на Ваганьково съехалось пол-Москвы. Он не слышал речи. Незачем было. Уши ему залепил воском зимний ангел; может, это была сама Ванда, он же не знал, во что превращаются души, когда тело лежит в гробу ледяным бревном. Люди сетовали на то, что гроб свинцовый и невозможно дать великой Ванде последний поцелуй. Голоса сливались и сплетались, никто не различал звуков и букв. Делали все, что положено: подносили разноцветные венки, плакали, размазывали слезы по холодным щекам. Мороз лютовал. Женщины утыкали носы в меховые воротники, в пушистые шали, в дорожные ангорские шарфы. Слава стоял рядом с гробом, как солдат. Стоял, как потерянный: он все время думал, что он где-то потерял, оставил Челлу. В машине. В вагоне. В самолете. Память странно исчезла, уступив место пустоте.

В толпе перед Славой мелькнули два лица. На морозе лица склеивались друг с другом, друг к другу прижимались; может, чтобы согреться. Слава узнал их. Ева и Людвиг. Почему они стоят так близко? Так рядом? Зачем Людвиг обнимает Еву? Он много себе позволяет. А Ева, почему она это терпит? Не лучше ли его оттолкнуть?

Он едва удержал себя, чтобы от гроба не ринуться по скрипучему снегу к этой парочке и не разрубить их ребром ладони, грубо не разъединить, чтобы между ними мерцал только мороз, но не любовь. А кто тебе сказал про любовь? Та безумная музыка в ночном Малом зале? Времена сместились. То, что происходит сейчас, происходит до той ночи; все это происходит много раньше того, что ты испытал потом. И ты сейчас похоронишь Ванду, а потом ее встретишь. И ты недавно обнимал Еву, а еще только обнимешь ее в мрачном холодном зале. Поэтому не переживай. Время — странная штука. Оно живет в пустоте, и им тоже можно играть, как кубиками, как ногами и живыми звуками. Оно все равно ничего не почувствует.

Его прошибла мысль: а ведь Ванда принесла себя в жертву! Или ее принесли? Кому? На чей алтарь? Он наморщил лоб. Старая ушанка его прадеда, в которой прадед его спасался от морозов на жуткой железной дороге Салехард—Игарка, отыскал он ее вчера под бабкиной кроватью, а может, жизнь назад, сползла ему на затылок, и мерзли, краснели уши. Добрые руки натянули ему ушанку на лоб и завязали под подбородком. Он был благодарен неожиданному теплу. Не понимал, откуда оно свалилось.

Жертва, Ванда. Она была так прекрасна! Слепая, она видела все. Она была очень, чересчур добра. Слишком добра для нашего мира. Наш мир жадный; он за все требует плату. Дан тебе чудный голос — так давай плати! Чем? Болью, изгнанием, жизнью. Самая богатая плата — жизнь. Но ведь мы так привыкли жизнью платить за все хорошее. И за плохое тоже.

А что в мире можно, а что нельзя? Он этого не знал. Никогда не знал. Не знала и Ванда. Она просто пела; пение — это было ее дыхание. Для того, чтобы жить, ей нужно было петь. Все так просто.

Она выходила на сцены мира, будто входила под своды храма; глубоко вдыхала воздух и открывала рот, и звуки, что излетали из нее, отражали мир, но не в его временной последовательности, не в том порядке, в каком владыка-мир выстраивал в ряд свои главные вещи: голосом Ванда перемешивала в котле, где варится Время, нудный распорядок действий; и неизбежность пути, что ей был на земле сужден, не свернешь с него, служила ей грандиозной поварешкой. Она была ангельской певицей в запретном храме Времени, и ей была уготована быстрая смерть: милостивая, нежнейшая, воздушная, крылатая. Она ее заслужила.

А разве человек перед кем-то выслуживается, чтобы заработать награду? Перед людьми? Перед Богом?

Иные выслуживаются перед дьяволом, пробормотал он сам себе на морозе одеревенелыми губами. Люди думали: он молится. Или шепчет жене слова прощания. Что будет сейчас? Сейчас все поедут на поминки. В ресторан «Пекин», вы же сами договорились. Да, да, я договорился, я помню. А скажите, вы не видели, где моя Челла? Кто, кто? Простите.

Гроб, под всхлипы и выкрики, опустили в мерзлую яму. Могильщики еле выкопали ее на трескучем морозе. Славе всунули в ладонь ком ледяной земли, шепнули: ну, бросайте, бросайте! Куда, беспомощно оглянулся он. Туда! Ему показали на рыжую глину ямы. Он послушно швырнул землю. Вздрогнул от звука, с которым земляной ком ударился о гробовой свинец.

Что было потом, он помнил плохо. Да и ни к чему было это все помнить. Вереница такси с теми людьми, кто явился на похороны Ванды Гаевской, медленно отчаливала от ворот Ваганькова. По морозной Москве мчались машины, и люди внутри машин все так же кутались, пытаясь согреться, и все так же плакали, а иные уже и улыбались, а иные смеялись, предвкушая теплый зал, и роскошный поминальный обед, и водку, и коньяк, и обрядовый компот, и посмертные пироги — с мясом, с ягодами. Снег пел

под ногами; это была опера снега, его премьеры. Пел, скрипел, стонал, визжал. На крыльце ресторана стряхивали снег с плеч, с воротников шуб. Стучали ногами, сбивая снег с ботинок и сапог. Снега было так много, и он был такой ледяной и злой, что его мохнатые облака люди внесли с собой в теплый, сверкающий огнями и фарфором посуды зал, и эти облака призраками висели у столов, стояли над затылками и лбами рассеявшихся за столами людей, потирающих руки, еще пытающихся старательно горевать. Люди блестели глазами, жарко пылали щеками, светились лбами, всячески горели и сгорали, уже живо болтали, уже весело скалили зубы, а потом вдруг спохватывались, строили кислые мины, делали скорбные лица, вздыхали, вытирали кончиком пальца ненастоящую слезу. Поминки были настоящие, а скорбь уже ненастоящая. Горе растаяло в пустоте. Горе помешали ложечкой в чашке чая, и оно растворилось, распалось на жалкие молекулы. Вносили и уносили еду, уносили пустые тарелки, у всех на морозе проснулся волчий аппетит, халдеи быстро и ловко разливали спиртное по рюмкам и бокалам, вам что, коньяк, а вам что, только водку, а у вас только «Абсолют», а, вон и «Смирнофф», вижу, а нет ли у вас «Алтайской»? Время от времени кто-нибудь вставал то за одним столом, то за другим, и звенели ножом по хрусталу: эй, тише, Марья Петровна хочет сказать!.. у нее великая Ванда занималась одно время!.. это, можно сказать, педагог великой Ванды!.. внимание!.. — и все взирали на необъятную Марью Петровну, ее груди и живот колыхались под нежно струящимся серебристым, зимним атласом над заберегом стола, и плыла камчатная скатерть, и неловко, неуклюже падали рюмки, скатерть собиралась в складки, голос Марьи Петровны звучал сначала хрипло, старчески, а потом вдруг вольно, мощно, как иерихонская труба, щеки ее колыхались, как студень, и были краснее крабовых лап, она была уже слегка навеселе, ее и слушали и не слушали, она говорила в пустоту, напрасно звенели ножом о бокал, билось стекло, смеялись там, далеко, отсюда не видно, стыдились сами себя: разве так можно, вон вдовец сидит, он отрешен от всего, как бы он не покончил с собой, такое страшное горе!.. — да, всем было немного страшно, но этот страх придавал остроту жизни, будто жизнь взяли и слегка посолили, а потом чуть поперчили, красным перцем и черным, белым и зеленым, — сновали официанты туда-сюда, жонглировали чашками и тарелками, подбрасывали вверх и ловили посуду, высоко поднимали над головами подносы, наклоняли их, будто был шторм, и корабль качало, а они все равно несли и несли на подносах людям жизнь, еду, икру, салаты, питье, былье, смерть и снова рождение, ведь все равно снова родятся все, и зима на ледяном подносе подтащит свежерожденных прямо к пиршественному столу, неважно, свадебному или поминальному: отведай, многолюдный мир, новые свои яства, и по вкусу ли тебе придутся эти вновь явившиеся к тебе, жалкие, голые и дрожащие? Не отказывайся! Угощайся!

Славе казалось, он пил мало и пил прилично, так, как надо пить на поминках; но пустота подталкивала его под локти, и он тянулся за рюмкой, сначала ему наливали, потом он перестал стесняться и наливал сам, водка разливалась по всем потрохам преисподним жаром, коньяк кружил голову, червем заползал под лоб; он добрался и до красного дамского вина, да, его тут пили одни старые дамы, мужики налегали на крепкие напитки, ресторан гудел, помимо Вандиных поминок тут еще пировали люди, праздновали или печалились, никто не знал, да и не хотел знать, каждый жил своею жизнью, никому ни до кого не было дела, пустота множилась, разлеталась на лица и глаза, на блеск бокалов и радугу яств, а еду все несли и несли на кровавых подносах, а бутылки все тащили и тащили, потому что каждый человек должен был крепкой струей залить свой несчастный пожар, бушующий внутри, а может, снаружи, и об этом уже никто не знал, — да, вы знаете, все равно война будет, рано ли, поздно, этого нам не знать, но отрещиваться от нее тоже нельзя, это слишком трусливо и слишком по-детски, мы же все не дети, правда?.. о да, мы все слишком взрослые!.. даже старые уже!.. а вы зна-

ете, есть новая гипотеза о том, что во времени можно прогрызть такие, знаете, дырки, червоточины, да только, ха-ха, не нашли еще того червя, чтобы из нашего времени — в иное — хоть малюсенький, узенький ход проточить! А вы? А что — я? Ну вы же музыкант! Вы — сыграйте это! Этот ход червя! Червоточину эту! Сыграйте! Изобразите нам это счастье музыкой! У вас получится!

На поминках не чокаются, с ужасом думал он, а рядом с ним уже чокались, чокался и он, рюмка в рюмку, бокал в бокал, он хорошо понимал, что позорно пьянел, но ничего не мог поделать с собой. Пустота командовала им, и он хотел ощутить вместо нее полноту; и ощущал, и радовался этому чувству. Люстры горели слишком ярко. Люди говорили слишком быстро и громко, он не разбирал. Слепая Ванда висела надо всеми, под потолком, одна, животом вниз, руки ее свисали вниз с потолка и болтались, как белые водоросли в морской воде. Слава время от времени поднимал лицо и пытался выстрелить уже незрячими глазами вверх. Глаза различали висевшую под потолком, возле люстры, Ванду сквозь морозный туман. Ей там холодно, бормотал себе Слава, как бы ей-то согреться, как бы ей-то хоть рюмочку коньячку поднести! Он наливал в бокал коньяк, щедро проливая мимо, на скатерть, шатко вставал, тянул бокал вверх, над головой, выгибая шею, его кадык дергался, будто ему перерезали горло и он умирал, захлебываясь кровью. Его подхватывали под локти, как в танце, пытались усадить. Он послушно садился, а потом опять порывался встать. Поминки когда-нибудь завершились, потому что закончилось время: его все все выпили и съели. Нет, еще много всего осталось на столах: объедки, огрызки, охвостья, скелеты, кости, подонки, шелуха, мусор. Вот халдеям работы будет.

Слава тяжело, будто шкафом ворочал, поднялся из-за стола, потянул за собой скатерть, люди вовремя уцепили скатерть за хвост и остановили шальную симфонию бьющейся посуды. Он побрел вперед, переваливаясь с ноги на ногу, как медведь, и, о странно, все опять видел и слышал, и вроде бы даже не сильно качался, и все соображал, и сам собою остался доволен: вот я как, и пил, и ел, и песней гудел, и ни в одном глазу! Мужчины одевали дам в гардеробе. Пахло оттаявшими шубами, мокрым мехом. Женщины мазали за ушами духами, одеколоном. Пахло «Шанель № 5», «Быть может», «Красной Москвой». Никто уже не скрывал улыбок. Славе кто-то сердобольный накинул на плечи пальто; нахлобучил лагерную ушанку; он, шатаясь, вышел из ресторана вон, а мороз-то никуда не исчез, он вцепился ему в уши, вгрызся в подбородок, расплосовал когтями щеки и голые руки. Рукавицы, да, кажется, были рукавицы, он их потерял. Ай, жалко. А Челла? Где Челла?

Рядом с ним шли люди, и он шел с ними. Его пытались затолкать в машину. Кричали: Слава, ну куда ты под хмельком, садись, не хулигань, довезем! Воняло бензином. Он пинал людей по ногам, лягал их, как конь: оставьте меня! Я хочу пойти пешком! Я здесь рядом живу! Оставьте меня все! Я хочу — один! Один, он хочет один, передавали люди друг другу шепотом. Шепот шел по людям волной и таял в синеве мороза. Он расталкивал людей кулаками, расшвыривал локтями. Орал на них. Его оставили в покое. Оставили — одного. Он шел один, и радовался, и удивлялся: неужели я один, какая свобода! Потом ему стало горько и больно: неужели я один, без Ванды! И больше никогда ее не будет рядом! И больше никогда... Звуки «ни-ког-да» врезались ему под ребра. Воткнулись, как нож той тетки в Ванду. Он телом ощутил предсмертную боль, которую она пережила. Да, она пережила свою боль; и так каждый переживет свою последнюю боль, и свою смерть, и свое воскресение. Ведь она там, под потолком «Пекина», невесомо висела, качалась, плыла — настоящая.

Он шел по ночной Москве один, и он не боялся позднего часа. Шел, как мертвый. Сам смеялся над собой: вот мои ноги мертвы, мои руки сдохли, а я шевелюсь, я зом-

би. Живые выросли перед ним и закачались. Они шевелились в ночи, как рыбы, а он весело глядел на них. Потом вперед выступил один живой; он занес кулак и крепко ударил его.

И он упал на снег.

Его, лежащего на снегу, стали бить ногами. Богатый, кричали, богато одет, ненавидяще хрипели, давай кончай его, братаны! Брось, кричали еще, а ушаночка-то санаторная! Вдруг прекратили бить: испугались, что и вправду убили. Он все сознавал. Они живые, и он живой. Все пока на местах, незыблемо. Вот бросили убивать; это Ванда остановила их, Ванда! Спасибо тебе, родная! С него сдернули пальто. Грубо шарили в карманах. Вынули бумажник, сорвали с пальца обручальное кольцо. Кричали: жаль, зубешки не золотые! Сунули в рот кулаком. Он выплюнул выбитый зуб на снег.

Живые убежали. Он, мертвый, лежал. Думал: надо встать. Встать не мог. Мерз. А где Челла? Вот бы сыграть, как он лежит на снегу и мерзнет, в самом центре Москвы, в центре мира. В центре музыки; наконец он над нею царь. Глупости! Никто и ни над чем, ни над кем не может быть владыкой. Люди только мнят, что они властвуют друг над другом. Это они так себя утешают, чтобы умирать было не страшно. Разлепил залитые кровью глаза. Увидел себя в зеркале неба: лицо разбито до уродства, до последнего ужаса, дальше только слезы, слезы. И еще улыбка. Беззубая, кровавая улыбка. Зачем, люди, вы бросили его? Чтобы его избили и бросили на произвол судьбы? А что такое судьба? Судьбы-то нет. Есть только пустота. Она теперь вместо судьбы. Зимняя ночь, как ты прекрасна. Как все Бог чудесно устроил: звезды, камни, снег, ночь, живая кровь, и льется. Тихо льется, тихо, тихо. Все тише. Все нежнее. Все неслышной.

Высоко, в рваных ночных тучах, звенели горькой замерзлой полынью последние колокольчики.

Он слушал небесный звон и улыбался. Это по мне звонят? Или это Бог умер?

Он повернулся на бок, подтянул колени к подбородку и обнял себя красными руками за плечи. Обнял крепко, жарко. Так Ванда обнимала его в постели. Слепая моя, как же я люблю тебя. Родная моя, как же нам хорошо. И всегда будет хорошо. Всегда.

...Его так и нашли утренние стражи порядка — скрюченного на снегу, колени к подбородку, поза бедного плода в утробе матери. Мать-Зима родила его нынче ночью. Какая молодец, разродилась сама. И кесарева сечения не понадобилось. И помощи «скорой». <...>

\* \* \*

## Агра

Киклады и Египет. Венеция и Бретань.

Аэды и скальды. Труверы и миннезингеры.

Все с арфами под мышкой ходили.

В круг выходили; люди стояли и слушали.

А певец играл на арфе и пел.

Хелиса и лира, набла и кифара, ардин и саунг — все это арфа.

Клен и ель, иной раз твердая древесина дуба — вот плоть арфы.

А дух ее — дрожащие струны.

Мы все играем. Мы — музыканты. Мы играем и поем, очень весело живем. Жгут на кострах наши арфы, а мы поем. Рубят наши арфы на куски, а мы поем. Распинают нас на деках наших драгоценных арф — а мы поем! Судьбы нет иной, кроме как петь.

И песней порою от смерти спасен человек.

*(Людви́г играет Злате на рояле всю ее жизнь.)*

Она не могла бы сказать, когда это произошло. Когда он к ней пришел.

Может, после больницы прошло немного времени. А может, целая вечность.

Она все так же страшно хрипела. Это был ее земной ад. Удивлялась: почему к ней не идут, не звонят, не арестовывают, не осуждают. На долгий срок, а может быть, на смерть; смерть, она же так рядом ходит, она подстерегает каждого, а Злата чем лучше всякого, любого другого? И она такая же. Только тоски в ней, внутри, больше. Музыка — больше.

Был сосуд, плескалась музыка в нем, и вот его разбили. Или она сама его разбила?

Телефон починили. Можно ли починить разломанные потроха? Волю, сердце?

Пока она лежала в больнице, ее ограбили: не сильно, не как когда-то великую Одинову, а так, понемножку всего потаскали, она поняла — соседки, кумушки, одной теньке она от квартиры ключ всегда оставляла, доверяла: а не доверяй никому; немного коллекционного фарфора, немного индийских безделушек, немного французских украшений цапнули и уволокли. Бабы, бабы, хоть немного урвать хотя бы. Она сразу простила их. Люди бедные. Она богатая. Пусть кусочек от нее отщипнут. И съедят. И обманутся: насытились! Человек ненасытен. Он вечно жаден.

Вот ее, Злату, знают многие на земле. Во многих странах; многие народы. И что? Ей этого мало. Она хочет еще больше, еще шире звучать, еще знаменитее стать. Жадность артиста! Нет ей предела. Так почему же она, знаменитая Злата, да что там, бери выше, уже великая Злата, чувствует себя в своей одинокой квартире как рыба на дне зимнего озера? Чего ей не хватает? У нее есть Большой театр. Театр больше, величественнее, славнее и прекраснее есть, видать, только на Марсе, да ей туда не долететь. И всем не долететь. Всяк сверчок знай свой шесток. И у нее, у славной Златы, тоже есть свой шесток. И у Бога, в которого не верит она, она ведь тоже земной жалкий сверчок.

Поет, бормочет, скрежещет, визжит. А теперь уже не споеет никогда.

Она произносила мысленно: никогда — и потом еще и тяжело, крупно, по слогам: НИ-КОГ-ДА — и ее обдавало инопланетным холодом, будто бы ее с вертолета сбросили во льды полюса.

Телефон тарыхтел не умолкая, и она его выключала. Тогда наступала блаженная тишина.

Она не ставила под иглу черный круг пластинки, не раскрывала клавиры; они так и валялись на рояле, толстенные тома любимых опер: «Аида», «Кармен», «Бал-маскарад», «Хованщина», «Севильский цирюльник», «Евгений Онегин», «Пиковая дама», «Царская невеста». И вот она, обожаемая «Травиата». Виолетта — падшая бабенка, попросту сказать, проститутка, и как это Верди отважился на такое либретто — оперу сочинить? Да еще бессмертную! Прошлое мешалось с настоящим. Она вспомнила: пригласили на постановку «Травиаты» великого режиссера, режиссер нарядил всех солисток и хористок в стыдные лифчики и кружевные панталоны, во все исподнее, воткнул всем в прически страусиные и павлиньи перья, сооружал из живых людей живые картины, возводил до потолка живые пирамиды, люди падали со скамеек, рушились живой орущей мишурой, моржовый теноришко ногу сломал, заковали в гипс, хористы, якобы пьяные, валялись в углу, близ роскошных и безвкусных, как старинная упаковка душистого мыла, пошлых декораций, а наряженные в приманчивое кружево девчонки и толстухи недуром носились по сцене с хлыстами, настегивая мужиков, как коней на скачках. Комиссия тарыхтила глаза: что это?! «Это бордель!» — гордо отвечал режиссер. Из темного зала рассерженно кричали: в тюрьму посадят! Зато артисты по-

чувяли себя свободными. Свобода — абсолют. Кроме свободы, человеку для счастья ничего и не надо. Режиссер провел прослушивания и из всех претенденток на роль Виолетты выбрал ее, Злату, великое меццо. Меццо?! Вы спятили! Виолетта — колоратура! Я меццо, кричала она ему и била себя кулаком в грудь, меццо, меццо, я не смогу! А режиссер орал, как на базаре, пытаясь ее перекричать: да, я вижу, слышу, вы меццо, но вы, вы можете все! Вы в одной опере, как Грэйс Бамбри, запросто сможете спеть и Аиду, и Амнерис! Не выкобенивайтесь! Это я вам говорю, я: вы — можете!

И она выходила на сцену в неприличных панталонах, обшитых бельгийским кружевом, ее худую плоскую грудь нагло обворачивала кружевная выюга, она пела так отчаянно, что все думали: и правда умирает! — ну пела же она Розину, ведь тоже меццо девица Розина, а столько колоратуры понасовал макаронник Россини в партию, ну вот поет же сейчас Виолетту, и ничего, не сдохнет, это Виолетта умрет, а она — после того, как на коленях доползет к своей последней парижской кровати, с модной, до блеска отполированной спинкой, с модным газовым рожком на картонном потолке, соберет такую кучу рукоплесканий, что никому и не снилось! Да и она сама — никому не снилась! И себе тоже! Вот, дочь генерала, гляди, это твоя война! И твоя страна! У ног твоих!

А может, не твоя это война! И не ты в ней убита!

Ее Виолетта ползла на коленях к последней, продажной постели, а ее оперный любовник, слащавый Альфред, протягивал к ней смуглявые руки: режиссер взял на роль Альфреда горбатого парня из Азербайджана, плечи узкие, как у девчонки, горбик пугающе торчит над воротом, вся рожа в веснушках, ну чучело и чучело, но какой голос! Великолепие! Ростом этот Альфред был ей по пуп. Злата боялась к нему приближаться: в зале начнут хохотать. А им нужно обниматься! И целоваться! И, по шучьему велению режиссера, любовник ее даже на кровать уваливал! И, уродец, черный кузнечик, покрывал дикими поцелуями ее тощее, жалкое тело, острые колени, дешево и жалко торчащие из-под брюссельских кружев.

Ты помнишь последнюю эту Виолеттину ля-минорную арию? Да не ария это. Маленькое ариозо. Зато какое! Душу вынимает.

Значит, ты еще чувствуешь? Ты чувствуешь что-то, железный идол?

Любовь? Нет. Радость? Нет. Горе? К черту. Значит, ты еще чувствуешь музыку?

Звонок раскатился по квартире, будто ударил одним диким аккордом целый оркестр. Злата вздрогнула, как волк, всей кожей. Она уже не одевалась после сна; расхаживала по квартире в ночной сорочке, совсем как Виолетта. А что если никогда больше не одеваться? Что если никогда больше не спеть ни одной ноты? Ни одной партии! Это смерть. Вот она! Гляди ей в рожу! Пела, пела и напела! После колоратурной Виолетты ей Тоску спеть было — раз плюнуть. Почему все эти оперные тетки — то шлюхи, то актрисульки, то опять куртизанки? Ну, не все, не передергивай.

Волоча за собою подол роскошной, обшитой снегом кружев рубахи, она подбрела к двери. Продолжали звонить. Некто упорствовал. А может, ошиблись адресом. А может... Кто там? Злата, открой!

Она узнала голос. Долго гремела замками.

После того как ее чуть-чуть, в насмешку, обидно ограбили, она поменяла замки и ключи.

Проходи!

Не голос, а жест. Шаг назад. Людвиг осторожно переступил порог. Прошел в комнаты, на ходу стаскивая мокрый плащ. Отряхнул плащ, посыпались холодные брызги. Злата отпрянула. Людвиг сделал жест: спокойно, не трудись, не говори ничего, я давно знаю все, вся Москва знает. Он тоже вроде как онемел. Объяснялся жестами. Схватился, произнес: ты спала? я тебя разбудил? Она помотала головой. Он потер мо-



крые руки, подышал на них. Не трудись, не хлопочи ни с какими чаями-кофеями, мне ничего не надо. Сядь в кресло. Он показал рукой на кресло, властно, как вождь. Слушай.

Злата послушно уселась в кресло. Она не удивлялась. Она как будто знала, что будет.

Людвиг легко поднял большое черное крыло рояля, установил подпорку. Откинул крышку, обнажил клавиши. Сел на вертящийся стул. Нашупал ногой педаль. Опустил руки на клавиатуру и замер.

Злата мертво смотрела ему в спину.

Она чувствовала себя манекеном. А Людвиг живой. Он сейчас будет играть ей живую музыку. Хороший импровизатор. Один из лучших в Москве. А может, и во всей стране. Черт, они все тут лучшие. Музыкальная элита. Повезло им. А если бы они сейчас сидели не тут, в центре Москвы? А в рыбацьем поселке где-нибудь на Камчатке? А в чуме на Чукотке? А на таежной заимке на Лене, на Енисее?

Он заиграл, и мысли вольно и весело улетели из головы. Она прекрасно видела в зеркале свои седые пряди: поседела после Америки. А может, вся Америка была ей плохо снятым голливудским фильмом, одним из дешевых, рыночных, — пошлое убийство на улице, клюквенный сок, нож, что мыла, оттирала от крови в уличном туалете? Да, конечно, это был фильм. Сон. Это было просто нелепое, кривое и грязное зеркало ее души. А настоящая Ванда жива. И Слава жив. Все живы. Никто не умер. Никого не убили.

Кружево ночной рубахи пластами снега, кусками колотого льда стелилось по полу, паркет мерцал то тепло, то холодно, музыка Людвиг врывалась ей в уши, раздирали их, раскалывала ей череп надвое, натрое, на тысячу кусков, осколки катились звездами по плашкам паркета, а музыка наваливалась, наступала, теснила ее растерянность, ее тайную боль, вынимала боль наружу из шкатулки ее жалких ребер, раздирали кружево, выпрастывала самое ужасное, жуткое, самое дикое и отчаянное, что она всю жизнь прятала, таила в себе.

Под руками Людвиг оживал и стонал рояль — живой довременный зверь, убитый на лютой охоте жалким человеком давно, когда сам человек еще был зверем, когда он не мог еще из зверя сделать ненавистную игрушку себе, муляж, фантом, прирученный и презираемый ужас.

Такою была ее боль; таким новым поддельным зверем. Одна шкура, а внутри пусто. Людвиг играл ей ее пустоту, и боль, ставшая картонной елочной игрушкой, зеркальным отражением, опять оживала, возвращалась, но не в тело, а куда-то выше и глубже тела; в ту, которую она была до рождения и кем станет после. После — чего? А разве есть смерть? Она столько раз ее пела! Всю смерть перепела! Даже думать о ней смешно!

А музыка гремела и шептала о другом.

Людвиг играл Злате всю ее жизнь. И ту, что она прожила, и непрожитую, то нежную, то грозную, то чудовищную. Злата узнавала себя в убитом допотопном чудовище, она глядела издали, а потом все ближе, ближе на свои колючки на спине, на страшные кожные бугры над красными глазами, на частокол голодных ребер, котрым мяса, только мяса и крови подавай, и скалились желтые старые зубы, и жаль было старое чудовище, но оно так хотело жить! Хотело есть, дышать и быть! Людвиг играл Злате всю ее несчастную, битую-гнутую, искореженную славой жизнь, понимая, что она слушает — и себя не узнает, не пускает себя — в себя! И продолжал играть, вызывая ее на дуэль с самою собой, подталкивая к пропасти, где на дне она видит себя, снова себя, и жалость пела в этой музыке, дивная, людьми и Златой забытая жалость, ибо пока они жили на земле и прожили на ней еще кус времени, жалость и любовь все уходили и уходили из людей вон, все исчезали, таяли, умирали, и многие думали: не воскресить! — а иные надеялись: возродим! — да только милость и жалость корчились в последней дрожи, отворачивались, чтобы люди не увидели их, уже не Божиих светлых ангелов, а уродов, исковерканных орудиями пыток, исхлестанных адскими

бичами. Людвиг кричал Злате музыкой: посмотри, что сам с собою, за долгие жестокие века, сделал человек! Посмотри, как он не видит брата, друга, не слышит его единственной музыки! Как он помогает лишь своему, родному и как плюет в чужого, гонит его батогами, бьет кулаком в лицо ему, не хочет его понять! Полюбить и простить! Простить и полюбить! Слава, Злата, золотая слава, по трактирам, на путях, пела музыка изпод корявых, грубых пальцев Людвиг, что такое слава? Аплодисменты умрут! Как все на свете! Да, и ты и я, мы оба прекрасно знаем, что знаменитым становится лишь тот, кого люди обласкают! Какие же это люди? Кто их выбирает в ласкальщики, в назначальщики всемирной славы? Скажешь, так сложилась судьба? Нет, Злата, нет, пела музыка, не судьба это складывает по кубику, ребячьей смешной пирамидкой, твою славу или твое безвестие! Делают это люди! И у этих людей есть имена! И с ними, с этими людьми, ты должен дружить! Пить вместе с ними коньяк! Петь им льстивые дифирамбы! Ложиться с ними в постель! А потом снова есть-пить в их избранном обществе, покупать им в лучших магазинах, преподносить им и празднично выставлять на их великие, важные и знаменитые столы коньяк, ром, мадеру, мускат, драгоценный портвейн времен Наполеона, а бутылка стоит, как дом во Флориде! Дарить им колье и ожерелья! Подписывать их лживые документы! Исполнять их приказы! Да, да, главное — исполнять их приказы! Это война! А на войне как на войне! Если ты хороший солдат — тебя командование вырастит до генерала!

А может, это все-таки не твоя война? И не ты, не ты, дура, в ней убита?!

Он играл ей ее самое — как она продала бедную маленькую душу, душонку дьяволу, над которым хохотала: детские сказки! — он играл ей дьявола, потому что он видел его, дьявол был слишком рядом, никакой он был не миф, не сказка, не икона в церкви, где возле Боговых ног скакал черт-урод с рогами, похожими на старинный печной ухват, а самый настоящий, страшный дьявол он был, живой, а может, мертвый ужас, он поселялся рядом с человеком, а то и в самом человеке, уж очень удобным, уютным для дьявола было это живое жилище, вот и Злату он избрал своим домом, и обосновался там, и думал, что навек; а может, и навек? Да нет, не навек, если вот сейчас, сию минуту Людвиг сидит за роялем и играет несчастной подруге все сущее, всех людей, себя, ее, прошлое, настоящее и будущее, ведь время варится в одном котле, а бедные люди об этом не знают, они думают, время течет рекой из прошлого в будущее, а кому-то кажется, что оно наплывает на нас из будущего и утекает в прошлое, и никому невдомек, что это неправда и что один котел, где варевом — время, и одна сиротья поварешка в руке Того, кто варево мешает и пробует на вкус; играл Бога и дьявола, музыкой заклинал их, чтобы они не измучили душу живую до смерти, впрочем, смерть придет ко всем, так что зачем беспокоиться.

Он играл ей то, о чем знала только она, и больше никто в целом мире: о том, как она предала Риттера, как написала донос на Гаевскую, как облила грязью Шалевича, и музыка внятно и ясно говорила ей об этом, музыка пела: ты Иуда! — и она мысленно вставала на колени перед музыкой, как вставала в опере на колени перед возлюбленным, перед дирижером в черной яме, перед бутафорской иконой, перед бокалом на столе, где мерцала марганцовка, перед убийцей своим, перед царем и владыкой своим.

Если бы ты умела молиться, дура! Помнишь храм Воскресения Словущего, от консерватории в двух шагах? Надо было по-настоящему молиться, дура, а не понарошку! Нет. Ничего такого не надо. Не дано, так не дано. Душа; нет ее так нет; умерла так умерла.

О нет! Не умерла! Я же жива!

Ты жива, а души нет. Улетела, птица.

Я тоже улечу!

Ну, попробуй.

Людвиг сидел в черной лодке рояля рабом, гребцом. Людвиг работал за роялем молчаливым священником, и он принимал у Златы молчаливую исповедь, слушал музыкой ее молчание, и видел насквозь всю ее, больную, прокаженную, ощущал на губах полынью ее губ; и отчитывал от нее хворь ее своей неистойвой, неожиданной музыкой; и отмаливал ее; и отпускал священной музыкой ей все ее страшные грехи.

Злата слушала с ужасом. Ужас был настоящий. Он заполнял всю ее пустоту.

А Людвиг все играл, рояль уже звучал как снежная плачущая арфа, вспыхивали, колыбельно пели и шептали про любовь тонкие упругие струны, и все больше становилось в его музыке жалости, жалость все прибывала, затопляла Злату, и она ждала: а когда же любовь? — а жалость уже поднялась к горлу, уже захлестывала кривящийся от боли рот, Злата вцепилась когтями-пальцами в рубаху на коленях, собрав ее в ледяные комки, в тяжелые складки, чтобы не закричать, жалость залила рот и поднялась к глазам, плеснула в них солью и болью, и Злата все-таки закричала. Вместо крика из глотки вырвался дикий хрип. А ей казалось: дикий крик. И когда она закричала, вместе с мертвым криком выпуская себя на волю из клетки музыки, музыка, бывшая жалостью, обратилась в любовь, а любви уже было не перенести, Травиата умирала, Джильда умирала, Аида умирала, Изольда умирала, все умирали, а кто же тогда оставался жить? Что же?

Людвиг почувал неладное. Остановился так внезапно, что испугался сам. Снял руки с клавиш. Злата лежала около кресла на паркете, бессильно вытянув руки, повернув голову, большой подбитой птицей. Черные волосы нефтью разлились по полу. Белизна сорочки страшила. Злата лежала среди белого снега кружев, как зимою в сугробе, и Людвиг, подстреленный ужасом, подумал: не встанет никогда.

## СТРУННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Выбери в лесу дерево, на которое любят садиться птицы и петь среди ветвей, и сделай из его древесины хорошую скрипку.

В прорези на деке скрипки, называемые эфы, весело входит воздух и живет там, внутри.

Живет — небо.

Тонкий голос летит ввысь!

Не оглянись.

Все звучит и дышит небом: скрипки, виолончели, контрабасы, взмывают смычки, рвется птичья, синичья музыка из-под пальцев.

Ее так трудно — словами.

Только молчи и слушай.

\* \* \*

### Primi violini

Ты моя нежная скрипочка. Ты мой ребенок.

Я так и не научилась играть на тебе.

Я только научилась немного петь. Голос выпускать наружу. На свободу.

Оркестр — это могучая, вольная песня скрипок.

Они несут нашу музыку к небесам.

Разливают ее, как вино, по земле.

Первые скрипки! Я-то не первая.

Я не хочу быть первой.

Я — последняя в этом оркестре. Дайте мне лишь глоток этой мелодии.

Этой навсегда прощенной мне муки.

*(Прыжок Златы.)*

У нее просто не было другого выхода.  
Она ходила по комнатам, ходила, ходила. Подол рубахи тянулся за ней поземкой.  
У нее просто не было другого выхода.  
Она искала выход, а его не было нигде; и ей становилось все страшнее и веселее.  
Да, это было странное, почти пьяное веселье, будто у нее в квартире праздновали Новый год, и гремела музыка, летя на гибель с черной пластинки, и гости чокались хрустальными зимними бокалами, кричали что-то страшное и великое.  
Она ходила, ходила, шаги — это было то, что успокаивало и одновременно возбуждало, шагами она стегала себя по телу, по плечам, по голым бедрам под рубахой, по душе.  
А разве у нее есть душа? Зачем она о ней вспомнила?  
Как у всех людей, у нее была душа.  
Это надо было запомнить.  
Когда она пела, вместе с ней пел ее ум. Ее внимание. Ее голосовые связки. Ее руки. Ее ноги. Ее шаг. Ее ход. По сцене. По миру.  
Пела ли с ней ее душа?  
А, да. Душа. Ед-ва ды-ша.  
Кто это там едва дышит? Она, что ли? Много чести, дышать.  
Лучше, счастливее — не дышать.  
А как же тогда петь, если не дышать?  
Великая Одинцова все время кричала ей: дыши! дыши!  
А тут, видишь ли, застыть, не дышать.  
Кто тебе даст право не дышать?  
Ты сама?  
Много ты на себя взяла, курица.  
Я не курица! Я дочь генерала! Я мировая звезда!  
Она кричала это себе, внутри, и крик отдавался под куполом черепа, и гас, и замирал вдали.  
В той дали, где она не будет никогда.  
Что там, вдали? Ад? Рай?  
Мой Рай, живи, не умирай.  
Она прошагала на кухню, рубашка волоклась за ней, бежала белым ручным горностаем.  
Оглядела шкафы, полки, утварь. Медная джезва подмигнула ей турецким узором.  
Скрипки вздохнули и нежно запели. Человеческими голосами.  
А одна скрипка, первая, должно быть, парила надо всеми, пела ее вольным голосом.  
Она вспомнила, как пела в стамбульской опере, а потом ее повезли смотреть на Айя-Софию. Она стояла, задрав голову, перед огромным храмом и ощупывала глазами купол. Бок чужой планеты. Выгиб мертвой Луны. Внутри древней церкви жила убитая музыка. Сколько певчих разевали здесь кривые рты! Голоса излетали наружу. Надо убить голос в себе. Тогда он, проклятый, вернется.  
Она медленно вышла из кухни, прошла по коридору, вошла в гостиную и перешла гостиную, как зимнюю реку по льду.  
Подошла к окну.  
У нее просто не было другого выхода.  
Она положила руки на крючки и откинула их. Отбросила защелки. Рванула на себя внутреннюю раму.  
Так же холодно, медленно открыла и распахнула раму наружную.

В комнату вошел, танцуя, зимний воздух.  
Зимняя страна! Как тяжело, когда полгода зима!  
Как она тебя любит, зима! Твою метель.

Ты помнишь, как в детстве каталась с горы на салазках? Ты помнишь того мальчишку, что сам сшил и подарил тебе на Новый год странную игрушку, ангела из тонкой марлевки? Помнишь, как его звали? Забыла. Память короткая у тебя! Не память, а картонная коробка! Он сунул ангела из марлевки тебе в руки и пробормотал: эта елка заколдованная, все после елки умрут!

Все ты врешь, мальчонка! Забыла, как тебя звать! Не умрет никто! Никогда!  
Холодный ветер свободно входил в комнату и гулял по ней.

Алмазно сверкали сугробы внизу.

Далеко, тихо и глухо, шумела набережная. Машины подавали голоса. Машины, железный кордебалет.

Она тоже машина. Железная. Несгибаемая.

Она умеет на сцене все: жизнь и смерть.

Что это? Кто она? Травиата? Да, Травиата. Ниже, позорнее пасть уже нельзя.

Скорее упасть!

Ты Виолетта, все ты врешь, что меццо, и тебе все ввали всю жизнь, ты визгуха, истеричка, ты тощее писклявое сопранишко, ты отчаянная колоратура, так заберись на такие верхи, откуда тебе всю жизнь и всех жалких людишек будет видно.

Знаменитые. Они тоже умирали. Они убивали себя. Не ты первая, не ты последняя. Знаменитые! Ты тоже знаменита. Оставь записку! Пусть тебя, смуглую воблу, уберут белыми розами! Густо, щедро цветами усыпят!

Где ее ангел из марлевки? Ее подарок? Эй, мальчонка, как звать тебя, подарил, а сам украл и к себе унес! Что, жалко стало?!

Да, жалко! Да! Жалко!

У пчелки жалко.

А может, у меня чахотка, как у Виолетты! А может, у меня рак! А может... а может...

Когда болеешь, тебя ангел из марлевки уносит в небеса. А тут — сама.

Она налегла животом на подоконник и выглянула в ночь.

Москва. Огни. Шевелятся внизу. Ее столица. Ее ночная птица.

Ее злая псица; воем по ночам, оплакивает мертвого, родного.

Чего она ждала? Знака? Или что страх исчезнет?

Она боялась.

Она медлила.

Она улыбнулась.

Как это делают? Как начинают?

Быстро, насмешливо глянула на лазуритовый кабошон на безымянном пальце, старательное изделие старой аристократки. Стащила. Швырнула на пол. Кому-то — потом — пригодится. Кто-то будет перстень носить и ее вспоминать. Или не вспомнит никогда.

Музыка утихала, истаивала. Виолетта положила обе руки на холодные оконные стекла.

Ладони еще ощущали холод. Ощущали жизнь.

Музыка еще длилась, еще звучала.

В музыке, когда оперу поешь, да, есть слова. Но это уже не слова. Это часть музыки.

Вот и сейчас: надо перестать быть собой, чтобы стать миром.

Стать музыкой, уже навеки.

Ты убила людей, давай не дрейфь, убей музыку.

А потом роди.

А потом опять убей.

Все в жизни повторяется. Это реприза.

Все повторяется; и смерть тоже.

Злата, ой нет, Виолетта оглянулась на свою бордельную каморку. Узкая кроватенка с никелированной спинкой. Под кроватью таз, вода в нем стынет. Полотенце на жалком костяном крючке. Плетеный стул. Божья Матерь на грязной стене. Сколько посетителей здесь бывало. Клиенты, то слащавые, то жестокие, то гладили ее, как киску, то руки ей выкручивали и наотмашь били. Орали: кричи! выгибайся! пусти слезу! Музыка любит слезы! Любовь их тоже любит! Это не любовь, шептала ты клиентам разбитыми в кровь губами. Это ужас.

Нет, дура, это же музыка, орали они!

Музыка — это досужая выдумка, лепетала она кровавым ртом.

Музыка — это ты, дура, кричали они!

Музыка — это мой таз с холодной водой, чтобы омыться, отмыться от вас, собаки, бормотала она, нагибаясь низко, еще ниже, разевая красный орущий рот все шире.

Музыка — это твои ребра, живот, шея и пятки, кричали они!

Музыка — вранье властей о нас обо всех!

Музыка — это слежка за тобой, звезда!

Музыка — это свобода лжи и ложь о свободе, свободе навек!

Музыка — толпы на площадях, и они хором кричат, что они — народ!

Музыка — подлый порок, рьяный разврат, этот дикий бордель, ошметки кружев, разрезанный персик на черном, расписанном яркими цветами подносе, бутылка, и выпита наполовину, а может, наполовину полна!

Музыка — галдящий притон и пустынный пляж, где лишь прибой, и ветер, и позднее сожаление о том, чего не было у тебя, тварь, и не будет никогда!

Никогда. Какое пошлое, оперное слово.

Отдам все пошлые словеса всех бездарных опер за одну корявую, спешную строку сумасшедшей, рукописной, в печи сожженной партитуры.

Почему ты сама не пишешь музыку, шлюха? Почему ты ее только поешь?! А ну валяй сочини!

Сейчас. Сочиню. А сколько вы мне заплатите?

Она крепче вцепилась в оконную деревянную ручку, уперлась коленом в подоконник. Быстро и ловко, худой чернявой обезьяной, влезла на подоконник, держалась за раму, глядела в зимнюю ночь, в морозный туман. Звезд не было видно. Над городом поднималось серо-красное, призрачное сияние. Городу снился сон про туман, про смерть. Однажды все люди, все, кто живет здесь и сейчас, умрут в каменных мешках. Так какая разница, здесь и сейчас или там и тогда? Музыка! Нет слов. Ты перекрыла все. Закрыла людям глотку, чтобы больше не ввали себе и друг другу.

Музыка, ты последняя правда.

Как они это делали?

Ну, все, кто сделал это?

Она шагнула вперед и чуть оттолкнулась ладонями от сколов стеклянного льда.

*Addio, del passato bei sogni ridenti, le rose del volto già sono pallenti; l'amore d'Alfredo perfino mi manca, conforto, sostegno dell'anima stanca... Conforto, sostegno...*

Она полетела.

Она летела вниз, в музыку, страдалница Виолетта, харкая последней кровью, задирая в воздухе ноги, много раз использованная людьми плоть постыдно обнажалась, тощая, жалкая, рыбий скелет, в чем душа держится, рубаха развевалась по ветру, закрывая белым вьюжным подолом бесслышно орущее лицо, разъявленный в уродливом крике рот, по всем четырем частям света разлеталась кружевная рубаха, ветер игриво и наг-

ло сорвал нежную ткань, и глазам ледяной ночи предстало страшное в открытости своей тело, оно на лету становилось душой, тем, чего в теле не было раньше, душа рождалась на лету и тут же превращалась в музыку, и ее слышала только ночь, да, так холодной пустой ночи повезло.

*Ah, della traviata sorridi al desio; a lei, deh, perdona, tu accoglila, o Dio! Or tutto, tutto finì, or tutto, tutto finì...*

Виолетта летела, и полету не было конца.

А где же конец, хрипло спела она на лету, где же конец?

Захлебнулась голосом.

У нее просто не было другого выхода. <...>

\* \* \*

### **Violoncelli**

Милые мои, Амати, Гварнери, Страдивари, Бертолотти, Маджини. Мастера мастеров.

Вы давно в земле истлели, а я молюсь за вас.

Музыка ваша жива; инструменты ваши живы.

Вы сработали их на века, а я кто такая?

А Славина Челла?

Блестит на смычке конский волос. Скачут кони. Там, далеко, в поднебесных степях.

Виолончели поют и поют, а кони скачут и скачут.

А звезды? Светят и светят.

Только мы умираем.

А в музыке — живем.

Пой. Играй. Не останавливайся. Не оглядывайся назад.

*(Ванда выходит на бой.)*

Сместились обманные времена, и все, что произошло, стало сначала настоящим, а потом снова ненастоящим.

Мир все больше становился ненастоящим. Ванда не видела, но чувствовала это. Когда звучали чужие сладкие голоса, заливающие ее с ног до головы сладким сиропом, она не верила ни говорившим, ни самой себе, слушающей их. Она видела все сердцем, а сердце ее сокрушалось, а не радовалось. Лучше всего ей удавались трагические партии. Она однажды поняла: все искусство, все, что делает человек красивого и выдуманного в якобы настоящем мире, все оно — о боли, смерти и прощании. То ее убивали в спектакле, то она убивала. Она, оставаясь чистой и нежной, почти святой, убивала и предавала, а если нежность не покидала ее, то она покидала мир, и ее и в опере, и в жизни оплакивали люди на сцене и люди в зале, люди по всей земле, незнакомые люди. Она пела в опере, и она понимала: да, оперу выдумали, сочинили, никакой оперы нет в жизни, жизнь в опере, на сцене, это не жизнь, а ее слишком яркий слепок, но ей было все равно, опера была ей отцом и матерью, опера была ей душой и глазами, да, она любила оперу, а опера любила ее, пусть она умрет в опере тысячу раз, в жизни-то она все равно живет, да еще лучше, еще сильнее и радостнее, она так любила свою работу, ее работа спасала ее, слепую, музыка подчас выволакивала ее за волосы, тонущую в слезах, из ночной реки отчаяния; да, она пела музыку, выдуманную композитором, и она пела в опере, выдуманной режиссером, и за ней возвышались сварганенные

из холстов, планшетов, картона, краски и досок задники, выдуманные художником, все было ненастоящее, выдуманное, этого не было нигде в мире, и даже ее самой не было, ее соловьиного голоса, захлестывающего зал и мир, не было, ничего этого не было и, быть может, завтра уже не будет, и все это было, вот странно, настоящее, и любая условность ее искусства ничуть не мешала ей проживать на сцене многие жизни, любить, рыдать, смеяться и умирать. И да, все это было настоящее, правда из правд, ни минуты она бы не усомнилась в том, что ее Изольда умирает, обняв любимого Тристана, а Кармен, видя наваху в кулаке Хозе, все-таки кричит ему в лицо: «Нет! Не уступлю никогда!»

Тогда где же крылась ложь? Почему мир потихоньку становился не миром, а его подобием? Картонным муляжом?

Слава вечерами читал ей вслух модные, нашумевшие книги — она покорно слушала, наклоняя голову, ее нежные волосы выпрастывались из небрежно заколотого пучка и птицей слетали на шею, на плечо. «Славочка, это все ненастоящее!» — «Почему ненастоящее? — растерянно бормотал он, отрываясь от книги. — Это же знаменитый писатель...» Он называл имя. Ванда нежно улыбалась. «Ну, ты понимаешь! Нет в этом собачьей силы!» Это было их семейное присловье. Однажды Слава, смеха ради, читал Ванде на ночь детскую книжку — она устала после спектакля, выдохлась, и ей нужно было просто повеселиться, так думал он. Он читал, придавая голосу ненатуральное веселье: «Тоба был лохматый и грозный, Тоба был большой и красивый, но дети совершенно не боялись Тобу, потому что не было в Тобе собачьей силы!» На странице была нарисована большая собака с оскаленной пастью и высунутым языком. Дети на рисунке подходили к собаке и засовывали ей ручонки в красную пасть. Жаль, Ванда не видит рисунка, подумал Слава. И вдруг Ванда захохотала. Она хохотала, закидывая голову, и сквозь хохот бормотала: «Ах, не было в Тобе собачьей силы! Собачьей силы... силы!..»

Нет в этом во всем собачьей силы, тихо говорила она Славе, и он умолкал и закрывал модную скандальную книгу.

Он понимал, про какую силу говорит ему жена.

Про силу, которой веришь и которую любишь.

А веры и любви в мире становилось все меньше.

Опера, как и другое искусство в наступившие дни, могла поймать человека лишь на скандал, на его красную кровавую наживку; оперы нагло переделывались, в них врывался свежий ветер, ломались старые декорации, жгли на задах театров надоевшую расписную фанеру, и режиссер делал Графиню модной старухой, вроде Коко Шанель, а Лизу делал презренной служанкой и наряжал в Золушкины отрепья. Кармен врасос курила травку, Хозе, молоденький танкист, уходил сражаться за революционную Испанию, король Марк, генерал, надевал парадный, со всеми орденами и медалями, мундир и важно ложился в картонный гроб, а Изольда была зубастая, с голой черепашкой, зомби, восставшая из могилы, и воскресла она потому, что Тристан, любивший ее когда-то, девчонкой, так рыдал на могильном холме, что земля расступилась и выпустила пленницу. С оперой творили, что хотели — и все-таки она оставалась оперой! Потому что певцы, что выходили ее петь, были не зомби, а еще живые.

И Ванда была — еще живая.

Так прекрасно быть живой. Прекрасно есть, пить, любить, верить. Однако жизнь незаметно теряла основу. Теряла себя, ту, что была самою собой, великой жизнью, много тысяч лет, и вдруг от нее стала оставаться лишь оболочка, кожа; а что внутри? Железяки? Или просто пустой, сырой, ни холодный и ни теплый туман? Москва притворялась Москвой, опера притворялась оперой. Модель становилась валютой. Жизнь стоила



модель, дорогую или дешевую, неважно, и она на глазах у самой себя покорно становилась своей моделью — руки подняты, как у манекена, рот растянут в улыбке, как у живого, но разве это все реально? Это реальнее, чем реальное! Твоя опера — это же больше чем жизнь! Люди приходят в театр: кто послушать любимую старую оперу, кто попляшиться на тебя, модную слепую певицу, а кто только притворяется, что он любит музыку или что он твой поклонник, а покупает билет и идет, нарядный, в театр, чтобы ненастоящему выгладеть настоящим среди настоящих. Мимикрия? Подлаживание? Новый вид обмана? А что было раньше — курица или яйцо? Что раньше возникло: музыка или ее исполнение? Ха, да ты, музыкантша, лишь посмеешься над этим! Конечно, музыка, что же еще! А вот и нет, смеется над тобой всезнайка-режиссер, вовсе нет! Допрежь оперы, о презренные певцы, возникло мое видение. Мой сон! Он мне приснился! Я его выдумал! Изобрел! А музыка, эта ваша опера, этот ваш Вагнер или Верди — это всего лишь подспорье, костыли для быстрейшего рождения в трехмерном мире, в мире ваших пошлых декораций, моих священных заоблачных видений! Изначален — я! Все вертится вокруг меня! Реальность моего спектакля — больше чем реальность. Ты слышала, Ванда, такой стих: поэт в России больше чем поэт? Так вот, я — больше, чем музыка! Вся твоя музыка, вместе взятая!

Ванда не думала о том, что было сначала: земля или карта. Конечно, земля! Земля была настоящая! А потом по очертаниям земли, по изгибам ее рек и разливам морей рисовали карту! Теперь было иначе. На свет явилась карта. И по ней, выдуманной, рисовали, старательно, крихтя, чертили, лопатами на нее насыпали, камень за камнем в кучу несли — землю.

Мир сгорал и тлел под голыми руками, а ожогов никаких не было, не вздувались волдыри, и Ванда понимала: мера условности переросла не только рамки искусства, но и рамки жизни. То, что еще вчера считалось живой жизнью, уходило, уступая место муляжу. Ненастоящий мир возникал, смеясь, в ненастоящем искусстве, а Ванда и ее друзья музыканты еще играли и пели — настоящее, с живой кровью и живым, гулким биением сердца, а над ними смеялись и режиссеры, и дирижеры, и публика, ударяя их жестко сверкающими глазами, показывая на них пальцами: вон, вон они, древние смешные динозавры, они еще верят в любовь!

Рядом с Вандой оголтело, во всю глотку, и по радио, и из телевизора, и на улицах кричали то о войне, то о революции, люди хотели стрелять, опять хотели умирать, за что? — да ни за что, просто так. Просто чтобы разогреть несуществующую кровь. У многих в жилах текла уже не кровь, а красная вода; Ванда, как зверь, нюхом чувала, жив человек или уже мертв; она сначала боялась тайных зомби, потом привыкла к ним. Их становилось все больше. От них уже не так-то просто было спрятаться.

Настоящее еще оставалось, еще жило, но все время таяло, сжималось, обгорало по краям, Ванда знала: его не спасти. В погоне за настоящим люди бежали в старинную оперу, и режиссеры делали вместо сказочной оперы как можно больше настоящего: творили на дощатой сцене жестокую мистерию, разрешали истошные крики, битвы под открытым, гуашью намалеванным небом; мечи звенели, копья летели; еще немного, и режиссеры приказали бы певцам, как военачальники солдатам, наносить друг другу настоящие раны, их поливать настоящим йодом, бинтовать настоящими бинтами, накладывать гипс на настоящие увечья. Реалити-шоу! Вот что из-за облаков прилетало — или из мрака подземья воздымалось — взамен оперы, и Ванда, когда пела Антониду, Джильду, Иоланту, прощалась с той оперой, которую любила. Нет, опера с виду никуда не исчезала, напротив, она вроде бы расцветала, и ее как будто даже больше посещали, и она словно бы обещала зрителям: музыка бессмертна, люди, ваши композиторы и певцы бессмертны, да! А на самом деле Ванда вдыхала раздутыми ноздрями, расширенными легкими: та музыка, к которой приросли они все за долгие века, мед-

ленно умирала — под натиском Ненастоящего, что наваливалось пустыми прозрачными волнами со всех четырех света сторон.

Притворство! Вот оно, счастье Ненастоящего! Вот его дикий соблазн! Композиторы теперь писали ненастоящую музыку о ненастоящем мире, и трудно было разобраться, кто более подделен. Рояль? Орган? Инструменты? Голоса? Как было продрагаться сквозь железный частокол с виду настоящих рук, ног, лиц, локтей, спин? Живое тело! Душа живая! Ха, ха! Мир давно ушел в выдуманный лес. Он весело собирает там выдуманные грибы и ягоды. И сражается с выдуманными злюками-волками, и ведет выдуманные войны. А ты кто такой? Настоящий? Вон отсюда! Это царство лжи, бутафорское царство!

Ванда ужасалась: раньше она так уважала в театре бутафоров, когда она пела премьеру, бутафоры складывались и покупали ей после спектакля большой ягодный торт, его им пекли по заказу в «Шоколаднице» на Большой Дмитровке. Дмитровка, Пушкина, Эжена Потье, какая, черт возьми, разница? Вот так же и через тысячу лет: какая разница, настоящее все было при нас или картонное? Порви оболочку! А, не можешь? Тогда не суйся.

Подлинник — редкость. Ванда была — подлинник. Слава был — подлинник. Ева — подлинник. Риттер — подлинник. Одинцова, Федотова, Розен — все были подлинники. Злата... Вот со Златой было труднее. Ее вокал был мирового класса, выше всех похвал. Диапазон колоссальный. Она могла петь и Джильду, и Азучену. А дальше что? Когда Злата пела с нею в одной опере, Ванда вдруг вся, с ног до головы, покрывалась позорной гусиной кожей: страх обнимал ее, загонял ей голос внутрь, она не могла взять ноту, когда дирижер властно выбрасывал руку с палочкой в ее сторону. Настоящая Злата или поддельная? Злату нельзя было попробовать на зуб, как золото. А жаль.

Ванда восставала против обманного времени. Она выходила с ним на бой. Все больше она вкладывала чувства в свои партии, когда пела, зал сидел зареванный. Люди еще могли плакать. И могли радоваться. Завтра они уже не смогут этого делать без допинга. Без яда. И тогда режиссер будет выводить на сцену настоящего палача и ставить, там и сям, виселицы, тиски, гарроты и испанские сапоги. И кровь польется настоящая. Настоящая? Вы уверены? Искусство — это же условность! И смерть — условность!

...Да смерть и в жизни — условность, шептало ей поддельное время в живое ухо, ее же нет, в нее люди только играют! Они поют ее! Кто лучше, кто хуже! Кто не осиливает партию, хрипит, пускает петуха, так того — долой с подмостков!

...Она видела: живут в ненастоящем, а хотят — правды. Побеждает не сила и высота символа, знака, буквицы, тайных писем, а расхожая монета площадного события. Как в жизни! Чтобы — не в жизни, но как в жизни! Ценилась похожесть на жизнь, во что бы то ни стало надо было жизнь повторить, скопировать, спеть ее как можно старательней, высоким чистым голосом. Прилично спеть! Люди любили приличия и ненавидели их. Они любили соблюдать правила — и любили их нарушать. Люди, как всегда, жили, прикидываясь отчаянно правдивыми, а за спиной у тех, кто их пристально наблюдал, когда наблюдатели отворачивались, отвлекаясь на полет настоящих птиц, на рычание настоящей собаки, старались быстренько переодеться в шкуру модного символа и напустить на себя вид изысканного манекена. Ах, как великолепно быть настоящим, рыдать и пить водку в подъезде, вгрызаться живыми зубами в кус мяса, зажаренный с кровью, и одновременно торчать в витрине знаменитого бутика раскрашенной куклой из папье-маше! Быть и тем, и этим! И нашим и вашим за копейку спляшем!

Слепая Ванда выходила с пустотой на бой. Сцена — вот был ее бой. Музыка — битва. Клюквенный сок? Голос исходит кровью! Трясут игрушечной войной? Я в настоящей — умираю! Вы все врете с ваших картонных трибун? Я вам сейчас в зал — святую правду крикну!

Торговали музыкой. Бойко предлагали музыку из-за угла. Поддельвали музыку. Наносили на музыку тончайшие краски, искусно гримировали, так, что и не узнать. Давали музыке подножку: падай! Растянись на асфальте! Разбей рожу в лепешку! Что же ты не падаешь?! Мы же все только и ждем, когда ты грохнешься! Музыку подменивали, выдавали за музыку немую. Музыке подражали, вылезая из кожи. Но выходила к рампе настоящая Ванда, слепая, ощупывая перед собою воздух нежными руками, и музыка вырывалась из нее на волю, и музыку уже было не догнать.

Однажды Ванда и Слава провожали на Ярославском вокзале поезд — далеко, в Пекин, уезжал по железной дороге старый друг Славы, тоже, как и он, виолончелист. Он ехал за счастьем. Слава с трудом довез Ванду до вокзала. Они поехали не на машине, в метро. Ванду все толкали, шпыняли. Слава все крепче прижимал к себе Вандин локоть под песцовой шубой. Вывел ее из пасти метро на воздух, щеки защипало. Мороз завернул грандиозный, заполярный, брови, волосы, шапки, ресницы мгновенно покрывались толстым сизым мхом инея. Они оба стояли напротив несчастного друга, друг делал вид, что радуется. Улыбался во всю ширь холодного рта. Слава глядел ему в рот, во вставные американские зубы. Поцеловались. Друг влез в поезд, Ванда и Слава медленно вошли в теплый корабль вокзала. Люди ждали, уезжали, толклись зимней мошкаррой, целовались, ругались. Звали друг друга через весь зал, как через всю жизнь. Слава провел Ванду через вокзал, как через многолюдную площадь, она вдруг улыбнулась, точь-в-точь как его несчастный друг близ прощального вагона, и продолжала улыбаться, — и осторожно, как из тюрьмы, вывел ее на мороз. Мороз схлопнулся вокруг их голых лиц стальным забралом. Стало трудно дышать. Слава думал: милая, моя, навеки слепая. Ванда ни о чем не думала, просто мерзла, даже в такой мохнатой богатой шубе. Слава оглянулся — и увидел бродяжку. Нищая сидела на корточках, у вокзальной стены, с носом краснее свеклы. Перед ней лежала засаленная кепка. В кепке тускло светились монеты. Слава пытался, из-под очков, всмотреться в мятое, пропитое лицо. Ничего не понимал. Его душа говорила ему, что они знакомы. Он испугался самого себя: как это знакомы? Голос родной Челлы неистово запел в нем, вынимая на морозе из-под закрытых на все замки ребер дрожащее бродячее сердце. Он замедлил шаг, потом остановился. Ванда послушно встала рядом. Она все делает, как я, подумал Слава, не видя меня, она повторяет меня, и вдруг ему стало это странно, и он захотел стряхнуть с себя эту странность, монотонную репризу эту, как противную, тошнотворную козявку. Они оба стояли на морозе близ вокзала, и Слава, беспомощно щурясь, смотрел на бродяжку, сидящую на корточках. Где он видел ее? И видел ли? Он хотел свистнуть ей, как собаке, и даже сложил губы в трубочку, но потом ужаснулся себе и заклеил рот рукой в сумасшедшей, потешной варежке, еще немного — и детской. Ванда ждала. Он молчал. Бродяжка подняла глаза и уставила их на Славу. «Какая шапка! — восторженно и зло прохрипела она, указывая на Славин малахай из рыжих лисьих хвостов: ему подарили на гастролях в Сибири. — Дай мне, а то мне без кепки холодно! Подари!» И бродяжка показала пальцем на свою голую голову. Слава только сейчас понял: кепка на ледяном тротуаре — ее, она собирает в нее милостыню, и она — зимой — без шапки. Он снял с себя лисий малахай и нахлобучил на голову бродяжки. Носи на здоровье! Его потные волосенки тут же покрылись инеем. Очки блестели под фонарем, и было глаз не разобрать. А Вандины глаза ничего не видели. Они туманно, облачно улыбались и ждали. И рот улыбался. Как у нее только не застынут зубы на морозе! «Спасибеще! — хрипло крикнула побирушка. — Семь футов тебе под килем! И чтобы все только крещендо, крещендо!» Когда она выкрикнула это: *crescendo!* — он ее узнал. Ученица Златы. Курянка. Деревенская. Румяная, как яблоко. Была. Кровь с молоком. Щеки-яблоки, голос-молоко. А где кровь? Кровь где?

В какую преисподнюю, зачем свалился человек? Как просто: упасть и не встать.

Ванда молчала. Она ничего не понимает, думал Слава, а может, понимает, но молчит. Он попятился, потом повернулся и пошел быстро, волоча за собой за руку послушную Ванду, потом почти побежал, и Ванда неловко, неуклюже побежала за ним, наступая на ноги прохожим. Они, задыхаясь, добрались до входа в метро. Ванда спросила Славу: кто это был, с кем ты говорил? Он ткнулся холодным носом, как пес, ей в щеку. Да это так просто, бедняжка одна, я немного помог ей. Ты умница, ответила Ванда, ты у меня молодец. Они вошли в метро, эскалатор принес их вниз, на дно мраморного Дантова Ада, они прошли по узорчатому мрамору и сели в вагон, состав застучал колесами, как во льдах замерзающий — зубами, и тут Слава заплакал. Он плакал и содрогался всем телом. Хотел закрыть лицо рукой и не смог. Не было сил.

Не было собачьей силы.

#### БЕТХОВЕН. СОНАТА ДЛЯ ФОРТЕПЬЯНО «АВРОРА» ДО-МАЖОР

рассвет рассвет сколько сегодня мне лет сегодня солнце восходит да для нас двоих мне входит солнце под дых не могу дышать повсюду горящий музыкой Рим идет наступает железный ритм никакой музыки железный ритм так один говорил старик дирижер никакой музыки а подлинно горим кричит настоящий хор вопит настоящий вор стонет правдивый Псалтырь переплет мышью-Временем изгрызен до дыр я одна гляди рассвет во мне бьется сердцем во тьме от музыки в своем ли я уме на свободе или в тюрьме я согласна о музыка заковать себя в твои кандалы и тобою молиться из мглы ты моей прежней и будущей жизнью была ты солнце и мгла рассвет рассвет тысячи лет промелькнут умрут — и все дела а я только на землю пришла а надо уже собираться и уходить дай музыка подержаться за нежную нить за рассвет за звездный свет за зимний острый стилет лишь железный ритм и зимний Рим наш горит и я даю вечной жизни вечного девства обет

\* \* \*

#### **Contrabassi**

В опере «Цезарь Александрийский» впервые в оркестре звучал контрабас.

Я забыла имя того, кто посадил в тот оркестр музыканта с контрабасом.

Сложное имя такое. То ли Альдобрандини, то ли Альдровандини. Альдебаран какой-то. Звучит, как оперный мотив.

А где в Италии это было? В каком городе?

Красивые города в Италии.

Как заоблачная живопись. Как грациозные большие птицы, вытканые на коврах, на роскошных гобеленах.

Неужели и они, вечные, когда-нибудь превратятся в руины?

После премьер опер Верди все в Италии на улицах распевали его арии.

Что вы помните из Верди? Спойте!

Контрабас — это мужчина, в него можно влюбиться.

Влюбись, если сможешь!

Мне — поздно.

*(Любовь и жизнь Ванды. Ария.)*

Люди, люди! Как вас много! Полный зал! Эх, какой большой зал. Я вас вижу! Думаете, я вам вру? А вот и нет! Я вас чувствую. Вы все, вас много, так дышите. Жутко. Мощно. Я слышу ваше дыхание и думаю: неужели вы все опять собрались здесь, в этом большом зале, поглядеть на меня?

Да нет, вы, конечно, опять пришли послушать меня. Голос! Вот что надо человеку. Голос — это жизнь. Пока голос звучит — все вокруг тебя звучит и дрожит. Младенчик рождается — и сразу орет. Человек умирает — думаете, не кричит? О! еще как кричит. Особенно когда его убивают!

А я, пролетая над вами в небесах, вам арию из прошлого спою.

Про то, как трудно жить и любить. Как тяжело умирать.

Думаете, рядом со мной смерть жила только в опере? Ха! она рядом со мной годами жила. Смеетесь? Не верите?! Не верьте! Я сама — людей убивала! Еще как убивала! Я на войне, там, в горах, не скажу где, вы все и без меня сами знаете, метко убивала! Прицельно! И винтовочка у меня хорошая была. Отменная! Я так ее любила. Соберу и поглажу. Как ребенка. Железного ребенка. Она меня слушалась. А я чуяла ее. Мы будто срослись.

Если ты воюешь — в войну надо вжиться. Врасти. Так же, как в музыку. Война — это музыка. Ее надо слышать. Услышать. А не только разрывы, грохот, гарь и вопли. Смерть рядом — а ты живешь. Еще живешь. И на краю смерти знаете как остро все чувствуешь? Будто ты все время пьян. Всегда. Это смерть тебя опьяняет. Можете смеяться сколько угодно.

Но именно там, на войне, в таком вот постоянном пьяном угаре, я начала петь.

Уходила в горы, за камни, за скалы. Чтобы никто не видел, не слышал. И пела.

Я дружила там с одной официанткой. Она работала в столовке для офицеров. Высокая, красивая. Не то что я. У меня всей красоты — только коса вокруг головы, сзади я ее корзиночкой закладывала. Как в старину. Я вообще внутри старинная. Старорежимная. А та официантка была — модная! И нахальная! Все мужики были ее. Она меж столов так шла с подносом в руке, так... Бедро особым образом выворачивала. Плечом поводила. А уж улыбнется — все осветит. Мужики из-за столов падали. Из рук у нее миски со щами брали, как шкатулку с алмазами. А компот пили, как коньяк, закрывали глаза и чмокали. И вот я с этой халдейкой и сдружилась. А просто потому, что там не было никаких других баб и девчонок. Только я, снайпер, и она — при кухне.

Я сначала лечила. Спасала. Хирургам помогала. Потом убивала. Воевала. Такая жизнь.

А эта баба — суп варила. Кормила. Каждому свое.

Ах... тише... оркестр играет все тише... тише... Значит, дирижер делает оркестру знаки. Что-то хочет нам всем этой тишиной сказать. Дать понять. Меня всегда смешило это выражение. Так дать, просто — дать или все-таки — понять? А что понять? Тише... тш-ш-ш-ш...

Все. Тишина. Все молчат. И все молчит. Все во мне. А я — везде. В тишине.

Я разлилась по тишине, а тишина — по мне. Внутри меня.

Тишина — вот лучшая музыка. Когда умрем, такая будет тишина.

Такая тишина, знаете, иногда наступает в аэропорту. Вдруг все замолкают. И самолеты не приземляются и не взлетают. Окно в покой, посреди гула и гомона. И ты сидишь, растерялся и не знаешь, что предвещает эта тишина. Добрая она или недобрая.

Так вот, я про официантку. Ларисой ее звали. Ванда и Лара, два сапога пара, дразнили нас мужики. Офицеры пытались Лару усадить играть в шахматы и через это поухаживать за ней. Она отмахивалась: какие мне шахматы! Пошла посуду мыть. Я помогала Ларе мыть посуду. А меня к шахматам, за ободранную доску, не звали. Меня вообще никуда не звали. Меня боялись. А я никого не боялась. Очень бойкая девчонка я была. Оторви и брось.

Так меня называли. Говорили: а, у нас тут снайперша одна, не подходи близко, она тигренок, а не киска, оторви и брось!

Что оторви? Куда брось?

Брось, а то уронишь!

Вот я выхожу сейчас на сцену, на лучшие сцены мира выхожу, вернее сказать, меня под руки выводят, а ведь я из бедной семьи, я ведь со дна кастрюли, я и представить себе не могла, ни в каком сне не увидеть такого: я — и Карнеги-холл! я — и «Гранд-опера»! я — и Большой театр! я — и «Ла Скала»! Да, да, я и «Ла Скала»... я и «Метрополитен»... я и Байрёйт... я и Венская опера... Я все мои сцены помню ногами. И носом. Ногами я ошупываю доски сцены и часто пою босая, я люблю босиком. Ноги живые, ногами чувствуешь пространство и даже время. А нос, он чует все запахи, тончайшие. Я носом чую тысячу запахов, как собака. Меня даже мой муж иногда подзывает, как собаку: Ванда-Ванда-Ванда-Ванда!

Я и весь мир... Не могу понять до сих пор, как это все случилось.

Помните старую песню? Как это все случилось, в какие вечера! Три года ты мне снилась, а встретишься вчера! Что вы мне там кричите? Давай про официантку? А, про Лариску! Про нее отдельная ария должна быть. Я вам отдельно спою, можно? Чуть попозже, ладно? А пока про себя. А то забуду! Хоть и не старуха, а память дырявая! Клавиры наизусть помню, все партии по сто раз слушаю и с записи учу, всю музыку намертво запоминаю, а вот свою жизнь... ох, ее трудней всего спеть. Но я попытаюсь. Люди, это для вас! Слушайте!

Из низов я. Из натуральных бедняков. Раньше стыдилась этого. Теперь не стыжусь. А что стыдиться правды? Мать у меня полы да окна мыла в учреждениях, нанимали ее. В зиму устраивалась дворником. Город наш большой, да не столица, а дворники везде и всюду нужны. Я с детства помню: подсобка в подвале, замок чугунный, его открывают огромным ключом, внутри — метлы, лопаты, совки, ведра, тряпки, скребки, длинный дворницкий лом. Хозяйство матери. Отец мой был просто пьяница. Просто! Пьяница! И больше никто. Грузчик... такелажник... Спивался, как с крыши летел. Мать все кричала: зачем висишь на моей шее! Но сама отца с шеи не сбрасывала. Нет. Жалела. Женщина всегда жалеет своего мужика. Каким бы он дрянным, распоследним ни был.

Он все время клячил у матери денег на водку. Если она не давала, он замахивался и бил ее. И лицо у него становилось страшное, морда хуже зверя. Однажды так крепко ударил, мать так и полетела! На всю жизнь я запомнила этот полет. Ударилась виском об угол шкафа! И потеряла разум. Лежит, не шевелится. Я думала, она умерла. И сама не шевелюсь. Сижу, скрюченная, у окна на сундуке. В том сундуке мы льняное белье хранили. Простыни, наволочки, кружевные подзоры.

Мать отлежалась. Встала. Я все это время сидела на сундуке и глядела на нее. Я не знала тогда, что такое молиться, но все время повторяла про себя, шепотом: встань! встань! встань!

И она встала, да. Висок, щеку и шею отмыла от засохшей крови. Умыла меня, я сидела вся заплаканная. Ладонь у нее была как наждак. И пахла луком. Она все время резала отцу лук, водку закусить.

Отец подкрадывался к матери близко, нависал над ней, он был выше ее ростом и крупнее, такой медведь, и рывал: дай трешку! дай рубль! дай, дай! И мать выхватывала из кармана халата бумажку, бросала на пол перед отцом и кричала: на, подавись!

Весело было.

А потом отца в тюрьму посадили. Мне уж лет двенадцать было, я взросленькая была. За что, кричите? А за дело. Правильно посадили. Он убил человека. Хотя орал, клялся и божился, что не убивал! Да разве его слушали! Все доказали, что да, убил. И спору нет. Я приходила к нему в тюрьму. И на суд пошла. Он глядел на меня из-за решетки, и глаза у него были просящие, собачьи. Он будто просил у меня глазами: дай, дай!

А что — дай?

Разве я знала что?

Остались мы одни. Родни никакой. Комнатенка в цоколе, считай, в подвале. Стены в сырости, в пятнах. Мне они казались каменными тучами. У себя в подвале я все время видела бурю. Видела! Сейчас я ее слышу. И пою сама. Я сама буря! Я сама туча! И молния! И трава! И камни! А вы, вы — люди. А я про себя часто думаю: человек я или уже нет? Я же никогда больше не увижу мир. Никогда.

Страшно мне? Да. Страшно. Но я привыкла к страху. Это страх навсегда. Разве это страх! Это привычка. Это как зубы чистить. Или масло на хлеб намазывать. Мне муж намазывает. И спрашивает тихонько: Вандочка, тебе с чем бутербродик? С ветчинкой? с колбаской? с сыром? с икоркой?

Он разговаривает со мной как с ребенком. У нас нет детей. Я для него ребенок. А он для меня кто? Я не знаю. Судьба. Хороший Слава человек. Очень нежный. Я-то гораздо сильнее его. И грубее. Но притворяюсь нежной.

Опять притворство! Все притворяются. Все выкобениваются друг перед другом. Стараются быть лучше, чем есть на самом деле. Это тоже страх. Страх пролететь, как фанера над Парижем. Мимо чего? Мимо судьбы? Мимо счастья?

Я грубее, проще, сильнее, я снайпер, я хорошо стреляла, потому что очень хорошо видела цель. У меня, люди, был глаз алмаз.

А вот Ларка, та не притворялась. Она одна, среди всех, не притворялась. Там, в горах, на той войне, особо и не попритворяешься. Себе дороже выйдет. И все же все немного притворялись. Трус притворялся храбрецом. Офицер — генералом. Занюханый солдатишко — героем. И лишь кошка, одна столовская кошка никогда не притворялась собакой. Она — собак — ненавидела. Собака в столовку войдет с улицы — кошка подбежит, зашипит, поднимет лапу и выставит когти.

Где моя лапа? Где мои когти? Я была снайпер, но я не была хищница. Никогда в жизни не была хищница. А хищников вокруг себя видела — не счесть.

Их бы всех — да из моей винтовки!

Что опять тишина? Что затихли? Соображаете, ворочаете мозгами? Думаете: ах, эта слепенькая певичка, мы-то думали, она сама нежность, она сияющая звезда, из нее свет высокого искусства исходит, а она вон что тут вытворяет! В чем признается! В том, что всех убила бы, перебила! Перестреляла всех!

Да, постреляла бы всех подлецов. Всех гаденышей. Одной очередью покосила.

Вот всех, кто ту войну затеял, и всех, кто теперь, сейчас пытается нас мордой в войну окунуть — тоже поубивала бы. И не охнула!

А я — босиком — под ручки меня ведут — на сцену, и рот разеваю, и пою:

Ах, не блещу я красотой!  
И потому не стою  
Рыцарской руки...

А вы-то тут сидите! Полный зал! Тьма народу! И думаете: ах, вышла звезда! Да, вышла! Да, я! Дочь дворничихи и пьяницы! Всем девкам девка! Да еще и слепая!

Слепая... Я к себе притерпелась. Трудно это было.

Что кричите? Чтобы я спела вам, как я ослепла?

Извольте, спою. Только пообещайте! Что?! А все то! Что не полезете на сцену, не наброситесь на меня с кулаками, с железяками и не забьете насмерть. Не подожжете. Не расстреляете. Ножом не пырнете. Ножом, да! Я видела там, в горах, как закалывают кинжалом. Видела, как режут людям глотки, как баранам. И даже видела, как отрезают головы нашим солдатам, а потом коптят головы на костре, а безголовые тела ногами сталкивают в пропасть.

Чего я только не видала. Вам такого увидеть не советую. Может, Бог меня пожалел и, чтобы я больше никогда такого не видала, взял и лишил меня глаз.

Они у меня есть, глаза, да теперь вроде как фарфоровые. Или стеклянные. Хрустальные, аметистовые. Помню их цвет. Гляжу в зеркало и люблюсь. Масть у меня светлая, светлые глаза, светлые волосы. Белая, ахалтекинская я кобылка. Одни воспоминания про зеркало. Про себя в зеркале. Муж по утрам сам расчесывает меня, заплетает мне косы и закладывает на затылке корзинкой. По старинке. Так наши мамы и бабушки делали. При Сталине. Гитлер, Сталин. Как давно это было! Все уж их забыли. Время съело их. Поужинало ими. А потом была ночь, и опять взошло солнце.

А при Сталине ведь тоже была опера? Была. И люди пели в опере. Еще как пели! Рты распахивали! Старались! Ведь если плохо споешь, Сталину донесут, и в тюрьму сядешь. Или за колючку. У меня отец так, в пьяном виде, бормотал. Колючую проволоку — колючкой называл. Вольет стакан в глотку и плетет языком: отзыньте все, я засекреченный, я носитель тайны, я присягу давал, если выдам, меня шлепнут, попытают, за колючку бросят. Я-то, маленькая, думала: колючка, она живая, вроде кактуса. В пустыне растет. Мне тогда казалось: все вокруг живое. В том числе и я.

А сейчас я выхожу на сцену, пою, слышу, как плывут по сцене, по залу сладкие, жгучие звуки оркестра, как плывут вокруг меня и мимо меня чужие голоса, и чуть не плачу: мне кажется, все вокруг живые, а я мертвая. Ну, как заводная кукла. И разеваю рот, и пою, а это не я пою, а механизм внутри меня. А меня завели. Ключом. Повернули ключ до отказа, и вот я двигаюсь и издаю красивые звуки. И больше ничего.

А все думают: сколько чувства! Ну да, ведь она слепая, слепые тоньше и лучше чувствуют музыку! Самолучшие музыканты — слепые!

Какое странное поверье. Нет, правда в нем есть.

Как это, знаете шуточную поговорку: в каждой шутке есть доля шутки. Ну, в смысле, все остальное в шутке — не шутка, а правда.

Я когда выросла, все думала: и почему меня мать Вандой назвала? Имя-то иностранное! Нерусское! А с виду я — русачка из русачек. Широкие скулы, чуть курносая. Глаза светлые, коса до пояса, ну плач Ярославны. А поди ж ты, Ванда. И никого уже не спросить, все умерли. Отца на двадцать лет посадили. Мать умерла. С горя, думаю. Из-за отца, из-за меня. Когда меня с тех гор, контуженную, самолетом на родину доставили, в больницу с носилок швырнули, сто операций сделали всяких-разных. Кости вправляли, потроха пришивали. Да вот глаза под лоб новые, зрячие уже не вошьешь никак. Потеряла так потеряла. Не рыпайся и не плачь.

Мать приходила ко мне в палату и долго сидела рядом со мной. Я чувствовала ее запах. От нее пахло водкой, как от отца. Когда его посадили, а я уехала на войну, она стала попивать. Ну, не сильно пить, а так, прикладываться. Особенно сильно я этот водочный дух ощущала, когда мать, там, в больнице, начинала со мной говорить. Я лежу, уже не вижу ничего, она рядом, табурет больничный поскрипывает под ней, я пытаюсь представить, какая она стала, моя мать, и не могу. Стерлось ее лицо в памяти, и все. Не восстановишь, как ни сишься.

Я не могла говорить с ней. Молчала. Говорила она. Как пела. Это были ее арии, матери.

Она пела, бормотала, шептала, потом выла. Тихо так подвывала возле моей койки, как волчица. Раскачивалась на табурете. Я слышала такой тихий шорох. Это мать отвинчивала от фляжки крышку. Потом я слышала звук глотка. Потом опять шорох: крышку завинчивали. Потом мать веселела, даже хлопала в ладоши и что-то напевала мне. Она думала: я тут, на койке, маленькая лежу. А она мне поет, про медведей на велосипеде, а за ними кот, задом наперед. А я тут израненная валяюсь. И слепая. Слепая.



Мать, конечно, прекрасно видела: слепая. Но не осознавала, что я не прозрею.

Да ведь и я в это не верила. В то, что такой останусь навсегда.

Люди, а кто из вас знает завтрашний день? Никто. То-то и оно.

А потом мать моя умерла.

И что, что? Что вы там с мест ваших мне кричите? Про Ларку хотите? Когда же про Ларку, официантку? Ах, когда... Потом. Суп с котом. Про Ларку — это отдельная песня табунщика. У меня мать так ворчала, когда я подходила к ней и клянчила у нее денег на мороженое: на мороженое, отстань, погоди, нету денег, это отдельная песня табунщика! Потом! Суп с котом!

Мне кота тут всегда было жалко. Я воображала: вырасту, и заведу себе десять кошек, пятьдесят, сто кошек. И буду их кормить, поить молочком и расчесывать гребешком. Сто разных пород, и каждая мяукает по-своему.

Вот и мы, люди, все мяукаем по-своему. Ни один не повторяет песни друг друга.

Вы не про Ларку меня трясите, а спросите лучше, как я на войну попала. И я вам спою.

Да, как я на войну попала? С какого перепугу? Да очень просто. Отца посадили за колючку, мать, после мытья чужих окон и полов, потихоньку угощалась из железной отцовской фляжки, нашла у него в старых рыболовецких штанах, такая классная фляжка, военная, в защитный цвет выкрашенная масляной краской, а я просто сдыхала от тоски. Школу бросила! Это выпускной-то класс! Никакого аттестата, будущего тоже вроде никакого. Мать ревет: недоучка! Куда теперь, на панель! Я представляла: панель — это такая бетонная панель плашмя лежит на земле, туда меня заводят, а там палач с топором, меня ставят на колени и мне отрубает голову. Прилюдно. И моя голова катится по бетону. И я кричала: нет, ни на какую панель не пойду! И подбегала к матери, и вырывала у нее из рук отцову фляжку, и вопила: хватит! Тебе — сегодня — хватит! Глаза у тебя красные!

А мать вскидывала на меня красные глаза и шептала хрипло: эх, какой голосище у тебя, дочь, с целый дом! Ты так не ори на меня, а то стены треснут!

Вот грызла меня тоска, грызла, а я так захотела ей сама горло перегрызть.

Все думала как.

Случай помог.

Да ведь в жизни все, все, все — случай.

Или все не случайно?

Бывшие одноклассники, дерзкие парни, пригласили меня однажды на охоту. Какие из них охотники! Это отцы их поехали, в леса густые, в тайгу, на север, север-юг, запад-восток, мне один парень позвонил, я ему нравилась, отец у него там был, я поняла, главный охотник: Вандуся, рванем, развлечемся, ты ж на охоте ни разу не была, голову на отсечение! Я засмеялась и говорю: башку не отсекай, поеду. И поехала. Девчонка там тоже мельтешила. Не из класса бывшего моего, я ее не знала. Сидим в шалаше на берегу, нарядили нас в камуфляж. Смеемся: как на войне. Собаки носом ветер ловят, охотники стреляют, утки убитые — в собачьих пастях. Холодно. Осень. Небо ясное. Сосны на ветру шумят, корабельные. Озеро все в ряби... серебряная парча. Цвет той воды на всю жизнь запомнила. И тут меня разобрало. Ну, озорство, конечно. Разве я знала, к чему оно приведет! Вылезла из шалаша. Шагнула к главному тому охотнику, он всей этой охотничьей оперой дирижировал, болотники выше колен, грязью заляпаны, глаза веселые, бешеные: дайте ружье, стрельну. Утиный бог захохотал. Ты! — шепчет, как кричит. Ты! Ишь чего захотела! Да ты вместо утки — нас подстрелишь! Не дам! И тут парень тот, сынок его, говорит ему тихо и зло: дай ей ружье. Пусть попробует! Когда-нибудь вспомнит, как стреляла!

Ну, если вспомнит, охотник бормочет, если для воспоминания...

Мне протянули ружье. Я взяла. Собака утку пугнула. Утка взлетела. Я прищурилась и выстрелила. И попала. Утка шмякнулась в воду. Собака поплыла за ней. Несет добычу в зубах. Ребяшня моя высунулась из шалаша. Глядят изумленно. Тот парень, сын главного охотника, поднимает большой палец. Отец его берет из пасти у собаки добычу и шепчет, и ветер шепот относит: ну это чисто случайно.

Когда я на той охоте, посреди судьбы своей, убила трех уток, отец того парня внимательно глянул на меня, прищурился, будто хотел подстрелить, как утку, и процедил: глаз ватерпас, что, и правда в первый раз? Я застыдилась. Да, киваю. Он говорит: Лешка тебе телефон оставит, созвонимся, приходи на стрельбища, я инструктор по стрельбе. В спортивном клубе ДОСААФ. Тебе надо учиться стрелять. А что ей учиться, шепчет парень, смеется, она уже и так все умеет. Точно, глаз алмаз!

Глаз алмаз... глаз... алмаз...

Я на стрельбищах старалась вовсю.

Старалась целиться — без промаха.

Утиный бог, я видела, был доволен мной. Хотя ни разу не похвалил меня. Кроме меня, там ведь другие люди были. И молодые, и постарше. Стрельбища наши проходили на пустыре за городским кладбищем. Утиный бог ставил мне мишени все дальше, дальше. Мать дома, вечно поддатая, тихонько спрашивала: куда все время деваться, дочка, у тебя что, любовь?

Да, кивала я, чтобы мать отвязалась.

Потом инструктор сказал мне: я рекомендовал тебя на серьезное дело одно. Я молча воззрилась на него. Он вынужден был договорить. На войну. На какую войну, спросила я тихо. На такую, все так же тихо ответил он, сейчас идет, ты что, не в курсе, в далекой Азии, в горах, вся страна знает, а ты не знаешь, знаешь, не притворяйся, мы нашим братьям афганцам помогаем. Благородное дело.

Благородное, ответила я тихо и опять молча стояла.

Ну так как, спросил утиный бог.

Я смотрела ему в глаза.

Знаете, когда глаза в глаза, на их дне ты видишь душу человека. Все мысли. Как на дне в серебряном, прозрачном осеннем озере.

Я сказала матери коротко: мать, уезжаю на войну. Рюкзак уже собрала. Отцовский рюкзак, старый, коричневый такой, из грубой мешковины, бывалый. Я дырку сбоку зашила, заплату наложила. Инструктор ждал меня в машине на улице. Его друг довез нас до аэропорта. Я впервые в жизни летела самолетом. Страху натерпелась. Я когда мужу рассказывала, как я впервые по небу летела, он хохотал до упаду. Смешно я, наверное, рассказывала.

А страх и смех — они рядом. Слишком рядом.

Человек страх со смехом часто путает. Ему страшно, а он начинает смеяться. Или смеется, смеется, и ему вдруг становится страшно, а он все продолжает смеяться. Назло страху. Или аккомпанирует ему. Подыгрывает вежливо.

Ну что, что, люди? Ага, замолкли? Слушаете? Слушаете музыку мою?! Слушайте, слушайте! Вы нигде такой музыки больше не услышите! Нигде и никогда!

Это моя опера! Только моя! И — больше ничья! В целом мире!

Лечу, трясусь, смеюсь и вспоминаю, как с матерью прощалась. Обняла она меня. Поцеловала. Губы сухие и твердые. Я тоже поцеловала ее. Отпрянула. Гляжу: щека у нее в царапинах. Царапины свежие. Кто тебя, спрашиваю. А она мне: сама, наплевать, сама ногтями расцарапала. Муж — убийца посаженный, дочь на войну подалась, а мне куда?

Так и врзалось мне в память это ее лицо: щеки впалые, в красных царапинах, глаза слезами налитые, как стеклянные. Как рюмки — водкой.

Самолет приземлился. Но меня сперва не стрелять заставили. А в госпиталь толкнули, медсестрой и нянечкой, на все руки от скуки. Потом я командирам говорю: меня ж

вроде как снайпера сюда брали. Меня в отряд определили. Я, честно, плохо различала, кто свои, кто не свои и на чьей стороне я буду работать, ну, значит, убивать. Главное — убивать метко. Это я уже хорошо знала.

Я стреляла — и в боях, и в засаде, как угодно и где угодно. Где прикажут. И — кого прикажут. Мне было все равно.

Иногда бойцы брали меня с собой на машине в ближний кишлак. Люди! Вы даже не знаете, как люди бедно живут! И я не знала. Я думала — мы жили беднее некуда. А оказалось — было куда. Что творилось! Детишки малые на дорогу коlobками грязными выкатывались, ползли к нам на животах, ладошки выворачивали: дай, дай, подай! Ребра торчат. Голодные! Женщины выходят, лица закутаны. Девочки тоже с замотанными рожицами, одни глаза из платков тюремных этих сверкают. Красивые глаза! Восточные женщины вообще красивые. Брюнетки, они гораздо красивей беленьких. Вот я, белая вошь! Ну что муж мой во мне нашел!

Да еще и слепая, груз какой... камень на шее...

Что с того, что весь мир сейчас у моих ног? Я не вижу свои ноги. И не вижу этого всего мира. А как бы именно сейчас я его увидела! Люди, вы даже не цените своего счастья, зрения, зрение — это клад, это такой алмаз! Не зря говорят: глаз алмаз. Мне это и на войне говорили. И командиры, и солдаты. Снайпер на войне на вес золота. И правда: глаз алмаз. И я себя, не смейтесь, тем алмазом чувствовала. Ну, что меня уважают. И даже берегут. Лучший кусочек в столовке подсовывают. Всех по именам, а меня даже по отчеству окликают: Ванда Фадеевна. Так почтительно.

Снайпер на войне — царь.

А для врага снайпер — крокодил. Изрубить на куски! Да так, чтобы пожил, когда рубят, чтобы мучился. Я ловила слухи: враг отловил нашего снайпера в части за ближним кишлаком, мужика, сначала отрубили ему кисти рук, потом ноги по лодыжку, потом выкололи глаза, потом сожгли живьем. И этот черный покалеченный труп наши нашли и похоронили. Такие дела.

Я думала: если меня поймут, со мной будет то же самое.

Поэтому смерть на войне была мне страшна только первое время. Потом я привыкла к мысли о смерти. И она мне была не страшна. Ничуть. Плевала я на нее. На войне все умирают. Это так обычно.

Я не слала писем матери, не молилась за нее: я не умела молиться. Хотя я видела, как наши солдаты молятся. Я их понимала. Ну должен же человек чем-то утешаться.

А Ларка, в столовке? Ну что, что Ларка... О Ларке потом. Не могу я о ней пока так просто.

А о другом — даже о самом страшном — да, просто мне! Все так просто! Жизнь, смерть, на войне все проще некуда! Это мы здесь, в мире, сложностей накрутили, наvertели. А там все прозрачно. Как горная река. Течет, журчит, все камни на дне видно. Всех рыб. Все древние кости. Видно жизнь, видно смерть.

И я видела все.

А меня — видели?

Кто меня видел? Люди? Командиры, солдаты в отряде? Повара на кухне, сторожа на складе? Вертолетчик один увидел. Штурман. В столовке нашей обедал. И я его увидела.

Ох, как я его увидела!

Люди! на всю жизнь.

Да, да, даже сейчас, певицей, на весь мир известной, да за таким хорошим мужем, знаменитым музыкантом, вы все прекрасно знаете, как его виолончель поет, — вот сейчас, сию секунду, здесь, перед вами, кричу вам, пою, плачу, шепчу: как я люблю его!

И буду любить всю жизнь. До смерти.

Это моя единственная опера. Единственная настоящая жизнь.

Все остальные мои жизни — подделки; и эта, не смейтесь, певческая, тоже, я пою и думаю, а зачем это я пою, пою оперу, одну, другую, и в каждой опере — жизнь свою, а моя жизнь такая странная, я однажды в ней умерла, и вот меня оживили, зачем? для пения? и черта ли мне в том пении? а голос-то, он же с целый дом, он больше меня, и я пою, мне уже не остановиться, но я пою все о своей любви, о штурмане том, в тех горах, а он, он, что же, спросите, он, да история эта обычная, как жизнь, как наша смерть, как весь мир, обычнее ее только рождение и смерть, ведь любовь — всегда между ними, она и роды, она и смерть, она — мы сами, только не каждый до нее добредает, не каждый выдерживает войну с ней и ее на войне, не каждый ее обнимет, свою единственную любовь, и споет на ухо ей: ах, не блещу я красотой...

Экипаж вертолета боевого, а он штурман, рыжий как лисий хвост, как гриб рыжик, да, там еще командир был, его дружок, да с ними бортинженер, обычный такой экипаж, вместе обедали, а тут Ларка хвостом вертит, ножку из-под юбочки короткой перед ними выставляет, они все втроем заглядывались, кто комплимент пошлет, кто шуточку соленую отмочит, она захохочет, и дело с концом. На кухню убежит.

Кухня... запахи еды... любовь — ведь она тоже еда...

Еда, еда, иди скорей сюда...

Любовь, любовь, сюда... Ко мне!.. Нет, не идет. Артачится. Встала — и ни с места. Я-то тогда только на него посмотрела. На штурмана того. А он — на меня. И все. Я спеклась. А потом смотрел на Ларку. И только на нее. И ни на кого больше. А меня уже вроде как и нет. Привиделась я ему. А он — мне.

Хотя, понятно, в столовке он ел каждый день. Но то я работаю, то он на боевом вылете. Иногда пересекались. И не глядел он на меня. Ел. Глядел в тарелку. А я не ела. Так с ложкой и застыну. Гляжу на него.

А он глядит на Ларку. Лариска появится в зале с подносом — он аж как гусь делается, вытянет шею, чуть ли не крыльями хлопает, то есть, конечно, руками. Будто она на сцене, а он ей сейчас аплодировать начнет. Как великой певице! Или балерине!

Я все думаю: а вдруг он жив где? Вдруг — живет? Вдруг выжил, хоть мы и вместе разбились? Приехать бы в его город с гастрольями! С оперой! Выйти, петь. А он в зале. На какую бы мою оперу он билеты купил? На «Фауста»? На «Кармен»? На «Сказки Гофмана»? На «Аиду»?

Аида, ее соперница, знатная Амнерис, тоже любила жреца Радамеса. И ненавидела эфиопку Аиду. Во все времена одно и то же. Ничего нового нет.

Жизнь одна и та же, да ведь и смерть одна и та же. Жизнь одна... да и смерть одна. Ни вперед, ни назад.

И между ними мечется человек. Кричит, вопит... поет. Или делает вид, что поет? А на самом деле плачет и проклинаят!

Как это у Верди, Леонора голосит в «Силе судьбы», орет благим матом: «Maledizione! Maledizione!» Это по-итальянски означает: проклятие! Проклятие! Проклинаю! А кого проклинать за жизнь? Ты не сам захотел родиться. Тебя зачали и родили. Так все просто.

Простите, люди. Про Ларку и про штурмана потом. Не время сейчас.

Может быть, все оно и к лучшему, что так получилось.

На колени опускаюсь... медленно, слепо... На коленях — пою...

Голос мощнее идет, когда ты стоишь на коленях...

...Я видела, как они забирались в вертолет. И дверь за ними закрывалась. Плотно. А жара стояла. Я представляла, как им там жарко. Представляла их там голыми, вдвоем. По щекам моим тек пот. Или слезы. Мне было, честно, наплевать. Жара. Пыль

и жара. Горы вдали. Я не слезлива, люди. Только в любви есть боль. Любовь — это боль. И страшная боль. Я, может, только из-за одной этой боли и пою. Я пою, и боль тише. Мне легче. Я дарю эту боль вам. И смеюсь над собой, над вами: как же я хорошо это придумала!

Вертолет, я глядела на него во все глаза, долго-долго. Мне казалось, он чуть раскачивается.

И тогда я жмурилась. Крепко-крепко. Загоняла соль и боль внутрь себя. Мне это удавалось.

И я собой гордилась. Я говорила себе: крепкая ты, мать.

Я там так себя называла, на войне: мать. Матери я никаких писем не писала, какие там письма, вот себя называла — мать, и правда я была сама себе мать. И смертям своим мать. И винтовке своей мать, я ее иной раз даже доченькой называла.

Только тому штурману я не была никакой матерью. Я была ему — глупой девчонкой. У которой одно достоинство: она классно стреляет. И все. Больше в ней ничего нет. И зачем на нее смотреть?

Рыбьи глаза, белые волосы. Как седые.

Но все случилось. Вы не думайте. Я же живой человек. Все мы живые люди. Это была та еще опера, люди. Не поверите. Настоящая или мыльная, а черт ее разберет. Мне не до смеха сейчас. Я вам как на духу рассказываю. Как на исповеди.

Однажды вертолетчики наши вернулись с задания, летали три вертолета из эскадрильи, и моя любовь летала тоже. Ужинать пришли, аж черные все, так умотались. Ничего не говорят, едят. Мрачные. Ларка еду на столы мечет. Зря задом виляет. Никто не смотрит. Не до баб мужикам. Ушла. В кухне подносом грохнула. И моя любовь, рыжий штурман, не глядит на нее. И вдруг — как через пропасть — бац! — и глянул на меня.

И глаза на мне остановил. А потом отвел.

Я замерла. Не шелохнусь. Не доела гречку свою. Тарелку от себя отодвинула. Встала из-за стола и вышла.

Стою на крыльце столовой, гляжу на вымазанные свежей известью стены белых домиков в синей жаркой ночи. Ночь такая жаркая, что тебе день. Земля пружинит под ногами. Трещины по ней идут, от жары. На крыльцо вышли мужики, отошли в сторону, курят. А я чувю, за мной кто-то стоит. И знаю: он.

И тоже курит. Но за мной. Сзади меня. Дым из-за плеча у меня вылетает и меня окутывает, как мехом.

Докурил, бросил окурочек, я видедела, как окурочек полетел. Я не оглянулась. Сошла с крыльца и пошла. Иду, и он за мной идет. Зачем? Что я ему далась? У него же другая. Заговорить? Давно бы уж заговорил. Или окликнул. А то — молча идет. Я иду, и он идет за мной.

Как охотник на охоте. За зверем.

Я не зверь, шептала я себе, нет, я не зверь. Я прошла белую домуюлку, где ночевала. У меня была отдельная комната, и я запирала ее на ключ. Ну, чтобы ко мне никто не проник шальнойной.

Прошла мимо ночевки своей и иду дальше. Зачем? А кто бы мне объяснил?

Да вы уж давно все поняли. Что тут говорить.

Я зашла за навалы сухих камней, неподалеку от поста, оттуда даже сторожевая вышка видна была, видел ли нас кто с той вышки, а кто знает, не знаю. Тут он настиг меня двумя шагами и положил обе руки мне на оба плеча. И прожег мне ладонями гимнастерку.

И вот тут я обернулась к нему.

Зачем я это сделала! Зачем глядела ему в лицо, ему в глаза!

Мужчина и девушка слишком близко, да на войне, да жара, да томная ночь, да нет в жизни счастья, а вот нет, и есть. Это было мое счастье. Почему он был со мной тогда? Не знаю. Может, они с Ларкой поссорились? Не знаю. Ничего не знаю.

Я только знаю, теперь и навсегда: это мое, это святое мое, насовсем, да, навсегда.

Умирать буду — с этой ночью — на груди. Она мне вместо крестика.

Не помню тут ничего. Ни как обнимались, ни как вставали и судорожно одевались. Под звездами. Крупные звезды, дикие. Жаркие. Как прощались, тоже не помню. Разошлись. Уходили друг от друга. Я еле дошла до своей мазанки. Ввалилась. В комнатах дрыхли солдаты и офицеры. Раздавался громкий храп, будто из ведра наземь высыпали булыжники.

И что? Я пришла утром завтракать, вижу — Ларка все поняла. Или нас подсмотрела, не знаю. Только так швырнула мне на стол тарелку с запеканкой, что сметана брызнула мне на гимнастерку и всю забрызгала.

Я нарушила военную дисциплину, да. Но ведь они тоже нарушили! Мы все всё нарушили! И что теперь, нас казнить? Четвертовать? Или головы ножом отпилить, как эти, здешние, делали с нашими?

Опять вечер. Ни на обед, ни на ужин моя любовь в столовку не явилась. А Ларка мне за ужином кинула через плечо, как собаке кость: ты приходи за каменный курган. В то самое место, значит, где мы со штурманом обнимались. Ну, думаю, знает все и даже больше. Я пришла. Она уже там стоит. Не в юбочке своей халдейской, а в камуфляжных штанах, в сапогах, во всей боевой амуниции. Смотрит на меня с ненавистью. И говорит, четко так, хоть и тихо: я тебя ненавижу. Долго ждать не стала. Сразу выляпала. И — раз! — оплеуху мне. Да от души, изо всей силы. Я за щеку схватилась. Говорю: прости. Она оскалилась: тебя?! Простить?! Да лучше я содохну! Но прежде чем я содохну, я тебе отомщу!

И тогда я спросила: как же это, интересно, а? Убьешь?

Смех не хотел, а сам прорвался у меня в голосе. И тогда она окрысилась еще пуще. Зашипела, как змея: а что! и убью! и не охну!

А я уже открыто смеюсь: а чем, подруга?! у тебя же нет...

И осеклась. Глаза скосила. И вижу у нее на ремне — кобуру.

И она за моим обалделым взглядом проследила, и — дерг! — вынимает ствол из кобуры. Отличный был пистолет. Крупный такой. Но держать удобно. Я, конечно, не рассматривала тогда. Но оружие-то ведь знаю. Ну, на «стечкина» похож. Или на «ТТ». А может, то была «беретта», девяносто вторая. На кой вам эти подробности, люди?! Тут меня сейчас убивать будут, в этой южной опере! Под черным, в звездах, жарким небом! А я еще не знаю, что это не жизнь, а просто опера! А я тут, у убийцы в руках, ствол разглядываю! Будто на всю смерть запомнить хочу!

Ларка стоит передо мной со стволом в руке. Крепко держит. Глянь-ка, официантша! У кого амуницию и оружие стащила, признавайся! Так я бы спросила, да я молчу. А что говорить?

И она, люди, она поднимает пистолет и наставляет мне в лоб. Не промахнется!

Вот тебе и maledizione, maledizione!

Люди! Что вы думаете! Что притихли! Думаете, выстрелит ли!

Да! Выстрелила!

А я в это время головой как дерну!

И пуля ее, вот уж точно дура, мне с головы, вот здесь, чуть по виску проехала и сбоку, под волосами, кожу содрала!

Грохнуло так, что я оглохла!

Кровь по щеке, по шее течет!

Она как увидела кровь, так пистолет из руки и выронила. И он бухнулся на камни, с таким веселым стуком, звоном.

И что? Так стоим друг против друга. И не знаю, что уж там она прочитала у меня на лице. Какие письма.

Только я-то совсем не ожидала, что она вытворит.

А она взяла — и на колени передо мной упала. Бац! И лицо задрала! И на коленях стоит! Передо мной! А в меня только что стреляла!

Я оторопела, люди! Онемела! И не знаю, пошевелиться ли, сказать ли что! А что тут говорить! И так все понятно!

И она, она, Ларка, официантша, ноги от шеи растут, грудь как у Софи Лорен, башку задрала, глядит на меня, а на нас глядят звезды! И я, не поверите, я протягиваю руки к ней, и как-то глупо, неловко просовываю ей под мышки, и силюсь ее поднять, рвануть вверх с земли, потому что мне стыдно за нее, стыдно, вот она — и на коленях передо мной!

А про то, что она меня секунду назад убивала, я уже забыла!

И она встает, а руки мои округляются, тянутся ей за спину, за ее красивую потную спину, и я так же глупо, непонятно беру и обнимаю ее, обнимаю крепко, как мать дочь, или, наоборот, как дочь мать, или как сестра сестру, так вот мы с ее штурманом тут вчера крепко обнимались. А сегодня — с ней!

И она, что думаете, она — тоже — меня — обнимает!

Так стоим, обнялись! Под звездами! Земля сухая у нас под ногами!

И она, она первая заговорила, бормочет мне в ухо: Ванда, ты ж моя подруга, ты ж моя перепелочка, я же тебя люблю! Прости меня!

Да, прямо так и шепчет: прости меня!

А я ей тоже шепчу, вроде как зеркалом ее становлюсь живым: и ты прости меня! прости меня! И ты, и ты прости меня!

Так стоим, крепко обнялись и просим друг у друга прощения!

А за что просить-то? За парня? За штурмана этого рыжего?

Так ведь я себе сказала: было и больше никогда. Я знала, что на мужика просто нашло. Польстился на молоденькую снайпершу, кровь в голову ударила, подумал: девка глаз с меня не сводит, так я дам ей, чего хочет, от меня не убудет. А может, не знаю, люди, не знаю, все было гораздо сложнее, чем я вам тут пою. Не знаю. Не скажу. Это тайна. Так она и осталась тайной. И для него, и для меня. И для вас! Вы-то тут просто сидите, слушаете! А я — просто пою! И все!

Все так просто...

Просто было и потом. Бой готовили. Меня и бойцов на вертолете должны были переправить на перевал, где готовили тот бой. Затолкали всех нас в его вертолет. Завели винты. Когда вертолет заурчал, а мы все уже сидели и глядели в иллюминаторы, выскочила из двери столовки Ларка. Ветер ее юбку рвал и крутил. Ноги заголялись. Я помахала ей рукой. Другой рукой крепко держала свою винтовку, эсвэдэ, ну, винтовку Драгунова. Семь шестьдесят два миллиметра. Как «моська» точно. Ну, Мосина, значит. Эх, люди! Вам-то опять же зачем эти подробности! Как и чем мы воевали! У горцев вон было оружие еще Великой Отечественной. И каски фрицевские. И что? И ничего. Воевали. И мы воевали.

Да только до сих пор не знаю за что.

Я много чего не знаю. Я просто пою. Мне повезло. Петь — это всяко лучше, чем убивать. А жить, хоть и слепой, лучше, чем в гробу лежать.

Ну так вот. Просто все было. Проще некуда. Вертолет наш подбили. Мы горели и падали. А упали удачно. Все покалечились, да живы остались. Выползли из машины. Орем друг на друга. А в нас палят! А мы орем. Я себя ощупала: цела вроде, толь-

ко голова очень болит. И перед глазами то темнеет, то светлеет. Шурави... шурави... что это... А, вот, вспомнила: они нас так звали, враги — шурави. На войне нет ничего и никого, есть только: враг и враг. Два врага. И они бьются насмерть. А там — как Бог рассудит. Все равно Он остается напоследок. Даже если ты в Него не веришь.

Я стреляла. Смотреть только было плохо. И страшно болела голова. Меня обнаружили. Пытались подбить. Я укрылась за камнями. Везде голые камни, камни, больше ничего. Кинули гранату. Связку. Все заволокло. Я перестала видеть, слышать и жить. Враз перестала. Вы думаете, я верю в Бога? Хотя должна бы верить, если я выжила. Но я вам точно скажу, люди: там ничего нет. Только тьма. Да что я! Даже тьмы нет. Там нет ничего. Главное, там нет тебя.

И меня, люди, не было. И я даже не знаю, долго или коротко я не была.

Очнулась. Пытаюсь глаза открыть. Получилось. Открыла. Да только ничего не вижу. А вижу вертолет, он лежит на боку, как зверь, всюду острые камни, и из открытого люка вылезают бойцы и других вытаскивают, кто руку сломал, кто ногу, а как же, думаю, мы обратно полетим, комэска за нами машины пришлет, что ли? А рация, жива ли рация? Лежу, ничего не вижу, а о рации думаю. И о бойцах. А где я? Об этом даже не думаю. Подо мной мягко, чисто. Соображаю: на кровати лежу. Руки не двигаются, ноги тоже. Зато мысли двигаются. Понимаю: я в лазарете. Голоса слышу. Тихо переговариваются. Врачебные слова произносят. Да, лазарет.

А потом, люди, потом слишком много боли. И ужаса. И терпения. Я терпеливая. Я очень терпеливая. Я это поняла, когда за одной операцией — другая, за другой — третья, за третьей еще одна, и еще целый ряд в очереди. Очередь боли — за одной мной. Не много ли боли на одну девушку?

И что? Все напрасно. Боль и боль, и все тьма, а света нет. Боль, до тех пор, пока хирург мне не сказал, и твердый голос его раскололся надвое: ничего не можем сделать, зрительный нерв погиб безвозвратно, и он, деточка, не возродится сам по себе. Все. Кончен бал, погасли свечи.

Знаете, люди, это песенка такая была, старая, подворотная, может, за колючкой ее пели: кончен бал, погасли свечи, и в тюрьме моей темно. Может, отец мой ее пел. Там, за колючкой. Вот и я сейчас пою. И тогда ее себе спела, на койке лазаретной валяюсь и пою. А врач думал, что я с ума сошла. Велел укол мне сделать. Укол сделали, я уснула.

А ночью мне приснился огонь. Большое пламя.

Пламя, взвиваясь, все озаряет.  
Люди, сбегаясь, казнь ожидают.  
Радостный новый крик пролетает,  
Жертву в оковах в пламень толкают!  
Пламя блистает светом ужасным,  
И высоко к небу то пламя летит!  
Летит!  
Летит...

Я ослепла, и я запела. Пела все то время, пока в том лазарете валялась. Однажды услышала над собой новые голоса, они переговаривались насчет меня. Я все время слышала свое имя. Потом голос врача услышала: она у нас так поет всю дорогу, не можем унять, да и не хотим, слишком красиво она поет.

Люди, я хорошо слышала их голоса и чувствовала их запахи, столпились около моей койки, их было много, я чуяла, что много, и вот один голос из всех голосов сказал: вы поправляйтесь, а потом сами решите, хотите вы или не хотите. Я спрашиваю: чего



я не хочу? Или хочу? И мне отвечают: учиться петь! Мы будем учить вас петь! Тут я расхохоталась. На всю палату. Меня, слепую?! А-хахахаха! Вот это номер, чтоб ты помер! Так отец мой говорил, когда хорошо подопьет. И мы не помрем, и вы не помрете, тот голос отвечает, а только сами решите, хотите вы или не хотите. А я спрашиваю так нагло: а где я буду жить, а кто меня будет кормить? А голос так же нахально, как я спрашиваю, отвечает мне: это не ваша забота, девушка. А я рублю: а вы откуда знаете, как я пою? Я же сейчас не пою! Лежу, видите, спокойно! А голос мне: а мы тут подходили к двери, послушали. И нам достаточно было того, что мы услышали.

Люди! Ну не счастье ли это!

Не везение ли!

Иногда думаю: а может, это та ночь, это тот штурман мой на меня это счастье наслал. Уж не знаю откуда, с небес или с земли, но послал. И мне стали выращивать новые крылья.

Голос — это стали мои глаза, мои переломанные руки, мои зашитые потроха, мои странные мысли, мои ночные слезы, крики в подушку — все обратилось в голос.

Голос весь ужас мой перекрыл.

Меня учили старательно. Подводили меня к роялю и ставили в рояльный выгиб, чтобы мне удобнее было на рояль опираться рукой и спиной. Первое время я промахивалась и попадала пальцами роялю прямо в голые твердые струны, как в зубы. А когда из рояля доносились первые звуки, меня трясло, мне было очень холодно. Как на морозе без шубы. У моего мужа есть мохнатый теплый малахай, ему в Сибири подарили после концерта, так вот тогда бы туда бы этот малахай и еще шубу мою нынешнюю, песцовую, я бы в нее завернулась, руки бы дыханием грела. Так мерзла! От волнения, должно быть. Меня заставляли петь то, что мне на рояле играли. На букву «а». А-а-а-а-а!

Я пела и думала: моя любовь, вертолетчик мой, ты погиб, или ты жив, я не знаю, но я пою тебе, слышишь ли меня?

И так каждый раз. Когда я уже научилась петь, как все они, большие певцы, и все партии разучивала с голоса, мне пели, а я учила, быстро запоминала, у меня, люди, знаете, память просто механическая, мне споют — и я все до ноточки запомню, так вот, когда на сцену выходила — все ему пела.

И сейчас — ему — пою.

И всегда — до смерти своей — буду петь — ему.

А муж, спросите? Ну что муж! Муж у меня хороший. Даже очень хороший! Да он гениальный музыкант! Виолончель его... она поет лучше меня. В его руках. А руки у него ласковые. Виолончель он зовет смешно — Челла. Ну, это по-итальянски. Сокращенное от *violoncello*. Только в женском роде. Челла, моя Челла! Как я тебя люблю! Так муж мой шепчет, когда укладывает свою Челлу в футляр, как ребенка в кровать. У нас нет детей. У меня есть только голос, а у мужа — Челла. Я не ревную.

Хотя первое время, когда мы стали жить, я хотела детей. И он хотел. Но дети, они же сами приходят. Их не надо торопить. И проклинать их, нерожденных, тоже не надо. Они — сами по себе. Опять, скажете, Бог дает. Ну да, Бог. Бог, конечно. А кто же еще.

Это Бог все так устроил, чтобы меня взяли в Большой театр? Конечно, Бог. А кто же еще? Это Бог мне подсунил мужа моего, святого человека? Ну кто же еще? А я еще не верю в Него. А может быть, уже верю. Не знаю.

Да детей не могу родить, потому что все потроха искорежены, шиты-перешиты. Я-то ведь не вижу, да и не помню толком, как и где меня покалечило. Видать, серьезно: я ощупываю пальцами, ладонями свои страшные шрамы по всему телу и вспоминаю боль. Дикую боль. И хирург надо мной, в очередной раз, сквозь маску дико ругается. Тихо, но дико. Я слышу. Не всегда мне давали общий наркоз.

Может, нельзя было, разные ведь операции есть, и как еще твое сердце на этот чертов наркоз отзовется.

А может, просто наркоза в лазарете не было.

Вот есть у нас в Большом певица такая, Злата Батрак. Хорошо поет. Но холодно. Очень холодно мне от ее лютого, как лед, блестящего голоса. Будто я на леднике в горах. Или мне ледяной наркоз ввели под кожу, и я тут же вся замерзла. Однажды меня подвели к ней, крикнули: поговорите! А мы молчали. Муж сказал мне потом: знаешь, родная, люди глядели на ваши лица и сравнивали вас. И одна хористка потом шепнула другой: у них на щеках шрамы похожи. Будто на одной войне воевали. Стояли друг перед другом, зеркало и зеркало, и друг в друге отражались.

Зеркало, плевать. Я на все согласная, и на то, чтобы у меня было живое зеркало; лишь бы петь.

Мы с мужем на гастроли вместе ездим. Поехали однажды в один город, мне сказали, красивый город. Я красоту города определяю по двум вещам: по крахмальным простынкам в гостинице и по аплодисментам в зале. Я просто больше ничего не чувствую. Муж рядом. Он всегда держит меня за локоть. Поддерживает. И ведет. И я иду за ним.

И мне кажется непредставимым, что я когда-то жила в Аду, и там, в Аду, стреляла, билась, материлась, как мужик, лежала в крови или бинтовала кровь, и что я там, в Аду, выжила и вышла из Ада. Или меня вывели. Не знаю.

Может, это мой штурман меня и вывел. На то он и штурман. Проложил мне курс.

Я иду за мужем своим, он ведет меня. Куда он ведет меня? На сцену. Чужой красивый город принимал меня на ура. Пела я тогда... ой, а что я тогда пела? Сейчас вспомню. Да, Виолетту!

Простите вы навеки, о счастье мечтанья!  
Я гибну, как роза от бури дыханья.  
О Боже великий! Услышь моленья!  
И жизни минувшей прости заблужденья...  
Прости, земля!

Спела, умерла, и зал взорвался. Я была тому залу — связка гранат! Меня в тот зал — с размаху — бросили! И я всех взорвала! И все горели! Орали, топали, хлопали, плакали! Визжали! Овации! Я много раз, люди, слыхала овации. Это очень радостно, овации, но это же и очень страшно. Овации, их грохот напоминает мне войну. И мне хочется убежать со сцены. И спрятаться. Забиться. Куда-нибудь. Под стол. За штору. Лечь в земляную яму, в окоп, на дно.

Виолетта моя, в той опере, ведь девица легкого поведения. Я такой никогда не была. У меня в жизни моей было всего трое мужчин: мой инструктор по стрельбе, первый, мой штурман, любовь моя, второй, ну и муж мой, третий, Бог троицу любит, скажете, да, любит. И все. Не как у многих — тучи любовников, любовниц. Мужей, жен меняют все, как перчатки. А ведь муж, жена — это на всю жизнь. Дай Бог нам с мужем прожить вместе всю жизнь! И умереть в один день. Ну, чтобы я умерла, а он за мной бы ушел. Или так: он бы умер, а я бы — вслед за ним. Так лучше. Здесь вместе и там вместе. Там тьма! Пустота! Да!

Но вот все думаю... в пустоте с родным человеком не страшно.

Отхлопали мне в том городе чужом, говорят, красивом. Вывели меня под руки в гримерку. Гул толпы слышу! Будто целый оркестр контрабасов согналы, и контрабасы гудят, как пчелы в громадном, величиной с целый город, улье! Это перед дверью гримерки народ собрался, меня увидеть хочет. Муж, он у меня вроде стилиста, сторожа, гардеробщика и официанта, вместе взятых, на публику эту бешеную орет: отстаньте

все! уйдите все! артистка устала после спектакля! она хочет отдохнуть! А люди, ну, люди есть люди, люди все-таки ворвались. И обступили меня, и в гримерке сразу стало жарко, как в бане. Кричат: какая вы красавица! вы великолепны! глядите, она еще не успела ночную сорочку Виолетты снять! какая прелесть! как вы звучали! да вы лучше Терезы Стратас! лучше Марии Каллас! лучше Виктории де лос Анхелес! лучше Грэйс Бамбри! лучше Ренаты Скотто! лучше... лучше... Я уж и не слушаю этих воплей. Мне опять страшно и жарко, как там, в горах, когда в меня Ларка стреляла.

И тут вдруг через все эти голоса, голосишки и восторженные вопли прорывается один голос, мужской: пустите! пустите! мне надо передать! передать! Что ему надо передать и кому, думаю, мне, что ли? И рядом с собой чужое дыхание слышу. И голос, мужской, он мне говорит: товарищ Гаевская, так и сказал — товарищ, как в армии, как на параде, вот вам передать велели! Мне раскрывать — не велели! А вам — в собственные руки!

И этот мужик, ну, чей голос-то, пихает мне в руки коробку. Большую такую коробку. И увесистую.

Я подхватила коробку, стою. Не знаю, что сказать. Может, тут какая драгоценность лежит, внутри! Гора алмазов! Золотые, серебряные цепи, браслеты! Артистам же часто драгоценности дарят, это так принято, это красиво! А мне муж еще и покупает! Что ни гастроль — муж везет мне коробки, коробочки и коробочки, и в них — сокровища. Я не вижу, какие они, но верю, что красивые! Тщательно ощупываю их и воображаю, какие они: красные, зеленые. Я же помню цвета. Еще помню. Самоцветы разные бывают. А на ощупь — гладко обточенные или остро огранные.

И — на все концерты и спектакли — бирюльки эти надеваю! И чувствую: муж доволен.

Спасибо, мужскому голосу говорю, большое! Я потом посмотрю! Ну я же не могу сказать: пощупаю! Да, уж вы потом, потом посмотрите, забормотал голос, и человек стал пятиться, голос все тише, тише, а потом опять громче стал, вот рядом крикнул: я вам руку поцеловать забыл! — и мою искалеченную, всю в шрамах, руку хватает этот мужик и к губам подносит. И целует. И только потом убегает.

Я в театре подарок тот не ощупывала. Не открывала коробку.

Мы с мужем приехали в гостиницу, нам помогли донести до номера букеты, я приняла душ, муж потер мне мочалкой спинку, и всю меня помыл, и в махровый халат завернул. И в комнату из душа нес на руках. Опустил на кровать. И я ему сказала: дай ту коробку, я посмотрю!

Да, у нас с ним было так условлено: я говорю на всякую вещь «посмотрю», как здоровая. Как любой человек скажет. И я правда вижу — руками.

Он тапками прошуршал, коробку несет. На кровать ставит рядом со мной. Я села в подушках, взяла коробку на колени. Как ребенка, чтобы убаюкать. Да, жаль, что у нас нет детей. Я была бы хорошей матерью. Почему-то я так чую: хорошей.

Я расковыряла клейкую ленту, коробка была аккуратно заклеена с четырех сторон, и откинула, и бросила на кровать картонную крышку.

И — обе руки туда, в коробку, запустила.

Ну... люди...

Под пальцами у меня вздувалось, вспучивалось всеми жесткими острыми деталями холодное, ледяное.

Металл.

И я медленно вынула из коробки пистолет.

Медленно ощупывала.

На ощупь, по конструкции, это была «беретта», девяносто вторая, к бабке не ходи. Я всякое оружие наизусть знаю. Мой инструктор так меня вышколил! Хочешь не хо-

чешь, все оружие мира наизусть вызубришь, если твой первый любовник, старый дядька, военная косточка, презрительно цедит тебе сквозь зубы: «У тебя что, мозги, как у дряхлой старушонки?!»

Не забуду никогда все то оружие, из которого стреляла.

И тот, ночной, под звездами, Ларкин пистолет — не забуду.

Я все поняла. Муж бросился ко мне: ты что, что?! Испугался: сидит жена, после спектакля, с пистолетом в руках на гостиничной кровати, сейчас возьмет и на крючок спусковой нажмет! И в себя — выстрелит! И себя убьет!

Обнял меня за плечи. Дрожит.

А пистолет не выхватывает у меня из рук. Думает, видать: сама отдаст! только бы не спугнуть!

Я его мысли читаю.

И мысли холодного дареного пистолета тоже читаю.

Пистолет мне говорит: видишь, я все-таки нашел тебя. В целом мире нашел. Помни меня. Береги меня!

И я прижала пистолет к груди.

И сказала над ним, ему сказала, как спела: я тебя сберегу.

И муж, слышу, опустился перед кроватью на колени, и так стоял, и колено мое рукой трогал.

Я протянула руку вперед. Рукой наткнулась на его лицо.

Оно было все мокрое.

И я сейчас ведь пою вам это и плачу, люди. Мы все всегда плачем! Сколько же мы все слез пролили в мире! От самого сотворения мира! Если мир этот, конечно, кто-то сотворил! А может, он был всегда! И когда нас не было! Плачем и плачем! Ревем и ревом! И никто нам слезы никакими кружевными платочками не утирает! Слезы, слезы людские! Льются и льются! Текут и текут! Люди друг над другом плачут, все плачут! Оплакивают и мертвых, и живых! А вы что, тут со мной вместе плачете, что ли?! Да вы не плачьте! Я вот тогда, в том отеле, пистолет в руках держала, нянчила, как ребенка, и тоже плакала! Я — любовь свою вспомнила! И оплакала ее! А муж надо мной, у колен моих, плакал, он ведь знал прекрасно, что я воевала, ему сказали! И судьба моя ему, видать, казалась чудесной судьбой! И мать моя, когда отца моего за колючку посадили, тоже плакала! День и ночь слезу точила! И Ларка, губы в кровь кусая, там, в той мазанке своей жалкой, в сакле той белой, в горах, все плакала и плакала, оттого что не выйдет никогда за своего рыжего штурмана, потому что у молоденького штурмана небось дома остались женка и малые детки! И те, враги наши, в тех горах, оплакивали своих убитых и с почестями хоронили их, и женщины на тех похоронах ревели в голос! И тихо плакала в гримерке певичка, ее не взяли в Большой, а вот меня, слепую дурынду, бывшую снайпершу, взяли!

Слава мне изменил с Евой и об этом тоже плакал, я знала. А я не изменяла ему! У меня просто была любовь! На войне! Просто... любовь... была...

И я плакала! Все время плакала, люди! То и дело плакала! А вы на сцене видели меня — веселой! Нет, что я вру, всякой — видели! И в слезах! И в крови! И проколотую ножом! И застреленную из пистолета! А я — вот она! Вот я, живая!

Вот я, люди... живая...

Любите меня, люди... пока я живая...

Любите... просто за то... что я жива...

И — пою...

Живая, пою...

Все просто.

Все так просто...

А сердце когда-то любило так нежно,  
И счастье казалось таким безмятежным!  
Все скрылось!.. прошло!  
Ах, гаснет, гаснет жизнь моя...  
Ах, гаснет, гаснет жизнь моя!

Пистолет держу, а он весь мокрый... это слезы мои на него льются, льются...  
И я слезам шепчу: лейтесь, лейтесь, пока вам дано литься, я ничего, ничего никогда  
не забуду, я люблю, любовь моя со мной, слышите, люди, со мной! со мной...

Никто не отнимет ее у меня. Никогда.

Даже Бог?

Даже Бог.

Бог, дай Ты мне поверить в Тебя...

Только раз я и поверила в Тебя. Всем сердцем. Только раз.

В ту ночь, за камнями... крупные звезды, жарюща ужасная... любовь моя, вертолетчик мой, я обнимаю тебя, ты обнимаешь меня... правду говорят, что мужчина для женщины — Бог, вот точно... а война, ну что, что... она всегда идет... она же всегда идет, всегда...

Люди, тише, тш-ш-ш-ш... молчите... не хлопайте... не кричите... не надо всего этого, криков, цветов... только слушайте песню... арию, мою последнюю... и плачьте... поплачьте вместе со мной... больше ни о чем не прошу...

### **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ В СИМФОНИЧЕСКОМ ОРКЕСТРЕ**

А это все уже — непозволительная роскошь.

Зачем оркестру — орган? Зачем симфонии — рояль?

...Концерт для фортепиано с оркестром.

...Концерт для гитары с оркестром.

Есть в мире все, что кажется сначала странным, а потом — прекрасным.

Нельзя ничего объяснить.

Все можно только слушать.

...Если ты можешь слышать. Услышать. <...>

\* \* \*

### **БЕТХОВЕН. СОНАТА ДЛЯ ФОРТЕПЬЯНО «АППАССИОНАТА» ФА-МИНОР**

Ты сегодня, в дождь, приехал в эту гостиницу, мой любимый. А может, вчера. Ты сидел у окна за нотной бумагой и не спал до утра. Ты сияющий звук держал меж горящих рук, меж дрожащих губ, только взгляд и взгляд, только стон и стон, музыкой мир спален, не воскресить, не воротить назад. Завтра твоя железная, дымная повозка, завтра карета твоя, завтра твой самолет, рельсы — сельдяная полоска, соловей твой над песней ручья, все лишь завтра, а сегодня ты здесь, задыхаюсь, едва дышу — ты легчайшая взвесь, ты небесный мой град и весь, ты — мой — весь, ничего у судьбы не прошу. Мой бессмертный возлюбленный! Я наконец-то эти века вольным стилем переплыла. Я настигла тебя. Я достигла тебя. Я в пути сгорела дотла. Но ты знаешь, любимый, я Феникс, костер разожги, наблюдай: я пылаю в ночи надо всеми, над тобой, ты — меня — сыграй! Завтра ты уедешь навеки. Ну и что. Ну и пусть. Солнце скоро встанет. Тяжелые веки.

Пора собираться в путь. Все всегда пора, не дожить до утра, хотя так хочется жить, а мы молоды?... нет!.. старики?... весь свет велит головы нам сложить. Мой любимый, единственный! Музыка — вот истина, изумленная страсть, сердце, на огне прокаленное, плакать, искать, без вести страшно пропасть, без единой весточки, а зачем же тогда вот это письмо пишу... еле слышу... о, тише... люблю... молю... едва дышу... Ничего не прошу у жизни тебя взамен — ни богатства, ни сладких ли, горьких вин на тризне, ни золота жизни, ни клятв, ни измен, ни детей, ни внуков, ни тугого, с конским волосом, лука, скрипичного злого смычка — ничего... пусть будет на смерть разлука... на бессмертье — любовь велика... Так она велика, любимый, ты знаешь, не положу в суму, не забуду, не пройду мимо, не прокляну и не обниму, а только тихо, тихо заплачу — среди чужих и шумных людей — над твоей любовью горячей, над незрячей болью моей.

\* \* \*

### **Saksofon**

Адольф Сакс, низкий тебе поклон, земной поклон тебе.  
Весь двадцатый век тебе кланяется.  
За твой саксофон.  
Золотая твоя сирена. Слезы поют. Смех поет.  
Золотой шепот горит и гаснет.  
Хиндемит, Прокофьев, Рахманинов, Дебюсси, сам великий Шалевич тебе поклонялись и перед тобой преклонялись.  
Перед изогнутым древним золотым иероглифом, любовным саксофоном твоим.  
Саксофон поет — и жизнь продолжается.  
Даже если она уже кончена.  
Что за чудо?  
Саксофон, ты чудо. Простое чудо из металла, позолоты и воздуха.  
Звучи. Ты — голос. Я сплю, и ты мне снишься. Всегда.

*(Людвиг и его жизнь. Ария.)*

Я родился в Империи. Я не знал ничего другого, кроме правил моей родной Империи и правил музыки. Я слишком рано окунулся в музыку. Ей меня учили, а потом я сам стал учить ее. Я стал учить ее быть, а потом не быть, но она все равно хотела быть, рвалась из-под моих пальцев, и жила, и была, и страдала помимо меня. А я был так, сбоку припеку.

Рояль. Это я, только черный и деревянный. Когда красный, когда белый. Но все равно рояль. Во мне струны, во мне колки и механизм педалей, и я звучу. *Allegro con fuoco, Vivace, Presto, Prestissimo!* А потом вдруг *Cantabile*, и скорбная поступь *Marcia funebre*, и безумная печаль *Largo e mesto*.

Я понимал: из реальности, из всего настоящего я делаю нечто, не выдуманное, нет! еще более настоящее. Более чем настоящее. Музыка — это карта, территория. Но это и воздух над ней: им можно дышать, нужно дышать, иначе — поддельная смерть.

По-настоящему ты умрешь только за гробом. После твоей смерти. Когда ты сдохнешь и тебя закопают десять, ну двадцать, ну сто, а может, пара человек, отчаянно рыдающих, делающих вид, что они не переживут тебя. И когда ты уже будешь там, внутри твоей музыки, внутри земляного черного рояля. Будешь лежать спокойно, мирно! Не потревожишь людской окоем.

И вот тогда! Внимание! Тогда ты или умрешь, или не умрешь.

Это зависит от того, как ты звучал на земле. Что пел, как струной дрожал, чем клялся-божился, каких птиц с руки кормил.

Думаете, музыка безъязыка?! Звучать тоже можно по-разному. Можно исходить ненавистью, брызгать ядом, но прислонять друг к дружке очень много красивых, роскошных даже нот! — и все это будет музыка. И люди будут ее слушать! Впивать яд всей кожей, всей душой! И что? Что? Опасно это? Или так, ерунда?

Кто такой музыкант? Сидящий на берегу забытой речки Иппокрены Орфей, бряцающий по струнам кифары, поющий убийцам живую нежность и великую боль, или такой вот черный аггел, ненавистник, и для него люди — жертвы, овечки на заклание, он их охмуряет, усыпляет, роняет им в их разверстые бедные внутренности черные зерна злобы? Кто такой я?

Я сам по себе? Или я отражаю кого-то? Бетховена, Вагнера, Малера, Баха? Чей я двойник? Я всего лишь черная нота. Черная книга. Или насквозь светлая, золотая? Я знал черных людей, они кричали на весь свет: я хороший! я хороший! любите меня! превозносите меня! А сами за угол — и закручивают рукава до локтей для труда новой смерти. Нового ужаса.

Я сын Империи, и я горжусь Родиной. Ее силой. Она слишком сильная, чтобы ее можно было прихлопнуть, захлопнуть черной крышкой, как отработанную, беззубую клавиатуру.

Мы — поколение. Нам надо прозвучать. После нас явится другое. Оно тоже захочет звучать. И так хотят звучать, быть, жить, плакать, а чаще — радоваться хотят, все, все, все. Все! Неужели кто-то есть такой, что этого всего не хочет! Если не хочет — кидает все это к черту, выбирает путь, которым уйдет. Отрава, петля, мост и река, бритва и теплая ванна. У кого есть огнестрельное оружие — тому пуля. А сколько я знал ребят, которые просто спились! Просто — спились — подчистую. Сгорели, как спирт в рюмке, подожженный для смеху спичкой.

Синее пламя. Как небо в солнечный день.

Меня Империя не посадила за колючую проволоку. Я жил себе и жил. И вот сейчас живу. Я еще молодой. Я еще столько музыки напишу! Я рояль, и я же пианист, я играю, это значит — звучу. У певцов наших есть такое словцо, они его друг другу говорят перед спектаклем: звучи! Я сам себе говорю тихо: звучи. Звучи, Людвиг. Недаром тебе родители такое имя дали. Бетховена так звали.

А может, я и есть Бетховен. В меня его дух переселился. Мне от этого страшно. И радостно.

А потом я думаю: ерунда все!

А разве рояль может думать? Он может только звучать.

Люди, вот сижу один, передо мной бутылочка, уже наполовину пустая, а может, наполовину полная, как говорят оптимисты, а я кто, пессимист, может, это значит меланхолик, нет, я не алкоголик, я не сопьюсь, и не надейтесь. У нас в семье были алкоголики. И самоубийцы были. И даже убийцы: один мой украинский дед, запорожский казак, горячий, по преданию, сущий огонь, узнал, что жинка изменяет ему с его лучшим другом, взял и зарубил ее саблей. Это семейный рассказ такой, я его с детства помню.

И за колючую проволоку в нашей семье сажали тоже. У меня отец сидел. Чудо, что вернулся. Умер, когда мне было четырнадцать. А я родился, когда умер усатый Вождь всех времен и народов. А четырнадцать мне было, когда Империя праздновала юбилей, ей стукнул полтинник.

А знаете, кого я больше всего из нынешних композиторов люблю? Думаете, Шалевича? Или Матросского? Или Груздева? Или Есаулова? Вот и не угадали. Я Риттера

люблю. А почему? Скажете, он пианист? Исполнитель? Да, исполняет чужую музыку! Да вровень с композиторами встает.

Когда он играет Бетховена, он — Бетховен.

Бетховен — это такая музыка, выше и сильнее ее, может, музыки нет. Ну, поспорьте. Ну, поспорьте со мной. А я сяду за рояль и зазвучу. Буду играть вам *Missa solemnis*, буду играть *Adagio* Девятой. Багатели буду играть, баловаться. Так, безделки, а прошибают навывлет. Как пули. Пули!

Они тоже звучат. Я слышал их свист. Отец слышал их свист.

Наврал я вам. Больше всего люблю отца. А никакого не Риттера. Отец мой, он тоже музыку сочинял. И тоже импровизировал, как и я. Или это я, как он? Простите великодушно, перепутал времена, лучше я себе еще рюмочку налью. И закусь у меня на тарелочке мощная: такая, как надо: два кусмана селедки, сам потрошил, нарезанный кольцами лук, ломоть ржаного, и еще луковица целенькая лежит, чищенная, от нее можно откусывать, это сладко, когда в лук вгрызаешься, молотишь его зубами. Как отец все время говорил: грызи, цинги не будет.

Цинга и лагерные песни, вы что думаете, люди за колючей проволокой не поют?! Еще как поют. Обо всем поют. Каждый хочет спеть, пропеть весь мир, не только себя. Я — кто? Я — тьфу! Песчинка, монада! Сдохну, и никто не заметит! Прихлопнут мошку! А вот мир — он будет жить. Если повезет, то — всегда.

Звук. Шум. Стих. Шепот. Вопль! Песня — слушай, песня — это все ты. Брось песню за решетку, она станет человеком. Песня, дальние дорогие, погибшие миры, вечно живые ели и сосны на юру, живая тайга, посреди тайги озеро, оно цвета синего огня, горящего спирта. Озеро не выпьешь. Ничего не присвоишь, не сожрешь, не вылакаешь, ты об этом знаешь?!

Я так помню моего отца. Мой отец плевал на официоз. Он и в лагере музыку сочинял. Всем сердцем! У него оно только и было, сердце — для записи: вместо нотного листа. Каждый день — зарубки на сердце, ноты на сердце, шел на работу и сердце себе когтями процарапывал. Музыка, у нее тоже есть когти! Ой-ей-ей как тебя когтят! Выходишь из ее холодного моря на берег, весь исполосованный. И эти царапины, порезы не лечатся. Ты тоже — лист нотной бумаги. Она драгоценна. Ее нигде не достать, не купить. Отец сам расчерчивал в лагере нотонасцами страницы, что кто-то злой вырвал из Библии семнадцатого, а может, восемнадцатого века и прямо на них, поверх старинных гнутых буквиц, нотонасцы рисовал. Карандаш раздобыл. Только записи те быстро стирались. А вохра нашла — из рук вырвала, в печке сожгла, а кто, на глазах у отца, крутил из клочка партитуры козью ножку, насыпал туда махру, отцу подмигивал, а может, материл его в бога-душу.

И курил. Отцовскую симфонию курил.

Искуривал в пепел.

Я часто думаю про себя. Вот я, птаха малая. Ну выродили меня на свет. Спасибо родителям моим, и я этот свет увидел. До рождения и после мы не будем видеть ничего. Пустота. И тишина. Полная, черная тишина. Не то чтобы я в Бога не верю. Я — тихо верю. Никому не говорю. Но верю! Без веры человек не может. И жить, и умирать. В пятнадцать лет я уже умел умирать, когда остался один, без отца. Он слишком рано ушел. Мог бы еще пожить. Для меня? К черту меня. Для музыки.

Вот думаю. А если бы меня били? Там били? Вынес бы я? Самому не уйти в тишину. Не дали бы. Сами бы прикончили. А ты ни на что не имел права. Ни на что. Даже на свою жизнь.

Поэтому музыка была — единственной свободой.

Там перешептывались. Перестукивались на пересылках. Там просто молчали. Молчание — это тоже музыка. Музыка без музыки.



Молчи месяц. Молчи два. Молчи тише, чем трава. Водорослью — в реке. На расстреле. На шнурке: сладил крепкую петлю. Не сорвусь. И не люблю. Только слышу голоса. Только слышать мне нельзя.

Охрана носила войлочные тапочки. Чтобы узник не слышал, как подходят к нему.  
Тишина. Мертвая.

Вы думаете, если музыка звучит, то она вся живая?

Музыка окликает тебя. По фамилии. Тебе надо выпрямиться, даже если у тебя болят спина и ноги, вытянуть шею и крикнуть на всю музыку: «Я!»

Там кричали от боли. Когда били. Кричал бы я? Слыхали ль вы за рощей глас ночной певца любви, певца своей печали? Это поют в начале «Евгения Онегина», у Чайковского, и мне в детстве казалось: слышали львы. Лев тоже кричит, рычит, когда его терзают и убивают медленно. Лучше, когда убивают быстро. Самая тяжкая медленная смерть.

Они кричали, а солдат ставил пластинку на патефон. И музыка играла!

Господи, какая музыка играла! Под крики. Или крики — под музыку?

Стук, стук в стены, молоточки рояля, рояль я, ведь тоже ударный инструмент. Клавишно-ударный, ни больше ни меньше! А вы как думали! Выпьем!

Рюмка на просвет — глаз щурится. На водку на просвет больно глядеть. Она искрится в хрустале, как алмаз. Я видел алмаз «Шах» на выставке. И алмаз «Орлов» тоже видел. Раньше, давно, его носила императрица. Империя сияла в ее лбу. Или на груди, всякое может быть. А потом алмаз превратился в водку, и я его выпил. И другие — выпили. И на морозе стоять было очень холодно, а от алмаза внутри стало люто, жарко. Там чувства все укрупнились. Разрастались внутри, обвивали щупальцами, змеями твое тело, у тела была по музыке тоска. Вместо музыки звучали чувства. Слух улавливал ход муравьев в муравейнике. И даже ход звезд. Звезды текли в полночи по кругу, обтекали Полярную, Полярная яркая, страшная, втыкалась в глазное яблоко, прямо под веко. Но и, ослепнув, человек там — видел.

Отец говорил: там арфистку встретил одну, еще на пересылке, она раньше играла в оркестре на радио... она на нарах ночью услышала музыку. Неслыханную! И ей так захотелось ее сыграть! Она к отцу метнулась, ей сказали: вон композитор, она приникла к нему и неслышно забормотала: я вам музыку напою, запишите, запишите! Охранники засвистели, навалились и оттащили ее от отца. Он запомнил только ее голос, отчаянный шепот. И больше ничего.

И потом он записал это музыкой.

А ее нигде не исполняли. И не сыграли никогда.

Стоп! Стоп, машина, задний ход! Еще по одной. По маленькой! Нет, я в своем уме, ха-ха, и ни с кем не выпиваю. Я пью один, но я не алкоголик. Я просто так. На помин души.

Эшелон, он вез людей, а колеса стучали, стучали. Маленький барабанчик, высокие ноты литавр. Бетховен любил литавры. Я тоже люблю. Литавры — это сердце. А я, рояль, — я тело земли, ее буйные волосы, ее разинутая пасть, ее язык, высунутый, обжигаемый ветром. Снег идет! Я кричу. Мне пьяно. Мне душно, широко, залиvisto и скорбно. Тук, тук, тук-тук, тук-тук-тук. И так без перерыва. Возок нас везет. Он нас увозит. Это наша общая песня. А не красный великий гимн. Теперь не «Интернационал», с ним же воспрянет род людской. Теперь другой. А вот не смейтесь, эпоха сдохнет, а ее музыку будут помнить. И петь.

Это наши песни! Вы не отнимете их у нас!

А ну-ка песню нам пропой, веселый ветер! Мы рождены, чтобы сказку сделать былью, преодолеть пространство и простор! Взвейтесь кострами, синие ночи! Мы пионеры, дети рабочих! Там, вдали, за рекой, загорались огни, в небе темном заря дого-

рала! Сотня юных бойцов... из буденновских войск... на разведку в поля поскакала... Выпьем! Близится эра! Светлых годов! Клич пионера... всегда... будь готов...

Отец говорил: тоска по музыке страшная. Все стучит, гремит, орет и гибнет в тишине, а музыки нету. Он говорил: чайки над серым морем орут, и это наваждение. Страшный сон. Полуденный кошмар. Он пробовал молиться. Молиться его никто не учил. А сам он не научился. Я — уже могу. Не то чтобы умею. Что попало, бормочу. Но — Богу бормочу. Он меня слышит. Верю.

Море откуда? А то Соловки были. Соловецкая пересылка. Выпьем!

Музыка моя, она такая сначала складная, сначала она гармония, а потом нескладная, рвется по швам и без швов, ветхая, кричащая, во весь оскаленный рот вопящая. Швы рвутся, трещат и хрипят, а я их сшить не могу. Не смогу. Никогда. Молюсь: ты, Бог, не ударь топором по роялю, по мне, не расколоти в щепу, зубы-клавиши не поруби. Люби меня! Люби! Я же такой огромный, Твой рояль, я величиной со всю землю, с небо! На мне, внутри меня, под ногами моими, под всей чугунной жаровней моей живут — дышат — умирают — воскресают — копошатся живые — сплошняком, коврами на полмира живые — люди и звери — чирикают бедные птицы — жар-птицы, знатные, богатые, громко хлопают могучими крыльями, улетая на родину, в Рай — воздвигаются сами собой города — дворцы — плотины — сами собой начинаются лютые войны — и сами собой погибают в дыму и руинах — медные струны звенят и поют золотые — я рояль, я всего лишь рояль, инструмент, я дрожу мелкой дрожью, вибрирую, таю и гасну, я звучу не напрасно — я свет — я уж не мир, а миры — сотни, миллионы миров — я жив до поры — смертно все, и мне суждено — крышку откинь — я окно — в безглухоту — в бесслепье — в бесславье — в бессмертье — в чистую — белую — золотую — черную пустоту — звучи — иди — туда — за черту — за время свое — за чертово нищее время — за великие горы — за ярость простора — за флаги отваг — за рыдание хора — жизнь песней разрежь на эту, на ту — на маяту, красоту — я уйду, но приду — я вернусь — себя мне не жаль — люди — люди — я только ваш старый рояль...

Эх! А забирает! Хороша водочка. Да и закуска хороша. Водка, селедка, что может быть чище и светлее? Как им там хотелось выпить! Представляю. Нет, вы не думайте, я не сопьюсь, я знаю меру, я в юности не пил, только в консерватории водяру распробовал.

Чайки! Соловки! В детстве, когда я слышал: Соловки, мне слышалось: соловьи. Острова соловьев! Соловьиные трели! А там вокруг узников толклась куча народу: чекисты, охрана, бригадиры. Заключение чувствовали себя монахами, которых погнали на каторжные работы. Так отец говорил. И при этом плакал, уронив лицо в ладонь. И пил. Пустоту запивал. Если б можно было, он бы носил на шее колючку, как гайтан. И медный староверский крест. Но он крест не носил. Ни на нитке, ни на цепочке, ни на гайтане. Ни на чем. Запрещено. Когда вернулся оттуда, купил в церковке около консерватории, и носил; в баню пошел, с него мужик, может, поддатый, крест сорвал и в банный сток зашвырнул. Так рассказывал. Я тогда очень маленький был. Сталин умирал, а я уже был.

Отец говорил: кого в карцер сажали, тот сочинял песни.

Это странно, но это правда.

Там ведь очень тихо, в карцере. Тишина. И приходит музыка. И с ней слова.

На пересылке, на северах, еще били в небесной выси, на скелетных колокольнях, неубитые колокола. Они людей будили, потом сзывали на обед. И точно, как монахов. Колокола не сорвали, оставили на пустынных колокольнях. Звон. Звон. Колокольный звон. У меня есть одна импровизация. Я ее запомнил и играю, но никогда нотами не записал. Играю каждый раз по-другому. Колокола называется. Да! Рахманинова вспомнили?! Ну вот и я вспомнил. Но я отца помню лучше, чем Рахманинова. Острее.

Больнее. Страшнее! Колокол бьет, плывет — это страшно! Это ты весь плывешь! Ты живой, окровавленной лодкой уплываешь в серое, холодное море! Ты потонешь! Не долго тебе! Но плывешь! А что остается?! А колокола звенят, гремят! Плывешь под музыку сфер! Так небо гудит. Люди догадались, отлили колокола. Это гул и гуд облаков, звезд. Мы же ими всеми станем. Мы! А я — об этом — сыграю!

Охрана на Островах была в колокола, а в Кеми когда узники пребывали, там били в голую рельсину. Это означало: стройся! Кто в карцере сидел — вздрагивал. В крошечной тишине это все же была музыка.

Чтобы не сойти с ума, люди рассказывали друг другу истории. Иногда пели песни. Очень тихо. Иногда сочиняли стихи. А шептали их — себе. Им хотелось гармонии и счастья. А еще — свободы. Когда поешь или говоришь в рифму, ты свободно паришь в пространстве, во времени. Времени уже нет. А есть ты. Цветок раскрывается в тебе. Его лепестки шевелятся ритмично. Ты уже не обезумеешь. Музыка спасет тебя. Музыка — свобода.

А еще музыка — частокол. Нот, звуков, распевов. Это храмовое строчное пение. Демество. Звучащие крюки. Ты внутри музыки, и она отгораживает тебя от смертных мук. Спасает! Не хуже Бога. Может, музыка и есть Бог?

Да, Бог. Да, Бог! Когда я звучу — я понимаю Бога.

Ах, меня баландой окормляют — колоколом будят по утрам — я монах или узник — я не знаю — а душа открыта всем ветрам — сидор сшил себе иглой тюремную — завтра нам в Сибирь, в еловый дым — чайка, не кричи — а стань царевною — чтоб я стал царевичем твоим...

Матери с детьми тоже попадали туда. Повезло мне. Я родился тогда, когда туда уже никого не забирали. Перестали забирать. Часто спрашиваю себя: зачем? За что? Матери там пели детям колыбельные. Отец говорил: знаешь, сынок, я написал там колыбельную будущему сыну. Ну, значит, тебе.

Он пел мне ее. Простите! Не спою сейчас. Выпьем!

И споем — и славу Родине, Ленину и Сталину, я не шучу, я серьезно, там люди свято верили в вождей, даже когда их тащили на казнь, и дорожные песни, и пересыльные, и давайте уж блатные, куда ж без блатных... у самовара я и моя Маша, а под столом законная жена... это было весною, зеленеющим маем, когда тундра наденет свой зеленый наряд... сыграй на рояле!.. значит, отпечатки пальцев, в чернила обмакнутых, на желтой бумажонке поставь... мелодию слышишь?.. это ж вохра к бараку идет, нежно ступает, даром что в сапогах... не езжай на гастроль!.. не убий, заповедь!.. еще один срок наматывают... а то давай наши, про революцию: смело, товарищи, в ногу, духом укрепим в борьбе... В царство свободы доро-о-огу грудью проложим... себе!.. Военную затащим: по долинам и по взгорьям шла дивизия вперед! А то частушки: эх, яблочко, да кисло-зелено! Мне не надо царя, надо Ленина! А то давайте на четыре голоса! да хоть Осмоглас!.. вас тут много?.. никто, клянусь, никто не слышит, что я над рюмкой бормочу... Споем, век воли не видать...

Христос воскрес из мертвых, смертию смерть поправ... и сущим во гробех живот даровав...

А мой отец ведь могучий мужик-то был. Не то слово! Бахова оратория, а не мужик. Потому он там и выжил. И не скурвился. Там падали многие ниц, и пятки гражданину начальнику лизали.

Мой отец, Всеволод его звали. Всем владел. А им — музыка одна владела. Вот он умер. И его народ не превознес. И, может, никогда не откроет и на руках к небесам не поднимет. Есть люди, кто не взыскует славы, а слава плевать на них хотела; они славны перед Богом. Тихо, о Боге сейчас не надо. Бог попустил на нашей земле всякое такое, что и дьяволу не снилось.

Неужели отца когда-нибудь исполнят? На полмира сыграют? Ну ведь играют же в Германии музыку тех, кто жил при Гитлере. Гитлера нет, а музыка есть.

Отца давили. Убивали. Мошка под утюгом! Никто его не исполнял. Ни одно сочинение не напечатали. Я кошусь на шкаф. Сквозь стеклянные двери, в разводах трещин, битое стекло, убитый старый мир, вижу горы нотной бумаги. Это музыка отца. После его тихой, безвинной смерти она никому не нужна. После моей смерти... Что? Не слышу. Выпьем!

Ах, бутылочка иссякает. Все меньше зелья. Все больше веселья. Я сегодня веселюсь. А что, нельзя? Часто сажусь за рояль и раскрываю на пульте эти рукописи. Играю, слезы бегут, капаят на клавиши, пальцы мокрые, больно, стыдно, продолжаю играть. Когда-то, давно, так страшно давно, что это все было напрасно и неправда, отец мой учил музыке царских детей. А-ха! Царских! Детишек! Только представьте себе! Царских! Да за одно это...

Мировая война, Гражданская война, отец у белых, в плену у красных, хотели расстрелять, а его помиловал Дзержинский. Почему не сам Ленин? Вот были бы почет и слава! Лишенец, скиталец, волчий паспорт, по городам мотался: Рязань, Ковров, Торжок, Кострома. Плюнул на все и поехал в глухую деревню, в костромские леса, в Парфеньев Посад — учить музыке детей. Ах, опять детишек! Детишки — это ведь ангелы! Выпьем! По чуть-чуть! За ангелов. Ласковые они.

Цыпленок жареный! Цыпленок пареный! Пошел по улицам гулять. Его поймали. Арестовали. Велели паспорт показать. Арест, на снег выгребли рукописи, всю музыку написанную, в мешки потолкали, увезли. Убили. Сожгли? А пес их знает. Была музыка — и музыки нет. А может, осталась? В тебе? Одним?

Значит, ты сам и есть — музыка?

А не эти жалкие ноты, крючки и стрелы, что рисуешь ты нервно и дико летящим пером по пяти линейкам, и брызгают чернила, и по щекам твоим льются черные слезы?!

Музыку уничтожили, ведь это все равно, что у художника сгорела мастерская с кучей работ. Работы — это наша жизнь. Все призрачно, выходит так?!

Эй, эгей, а я-то кто, люди, кто?! Призрак?! При-зра-а-а-а-ак...

Но вот водка — она не призрак. Она — настоящая.

Выпьем!

Выпустили... опять арестовали в Ярославле, моя мать, молоденькая девчоночка тогда, спрятала его рукописи на старом голубином чердаке... А приговор-то был какой! Заглядене! За пропаганду фашистской музыки — в трудовой лагерь на Севере! Фашисты — это два Рихарда: Рихард Вагнер и Рихард Штраус. Ого-го какие музыканты! Мать в очередях в Кремль стояла. Добилась приема у Калинина. Что она говорила властям? Громко рыдала? На коленях стояла?

Колыма. Река Колыма. За той колючей проволокой люди жили немного. Умирали, как птицы морозной зимой. Отец выклянчил у вохры бумагу и карандаш. Ему выдали кипу бланков для телеграмм. Сам линовал бланки, расчерчивал нотонасками. Вохра забаву не отбирала. Может, думала: сумасшедший. Там, на Колыме, отец написал двадцать четыре прелюдии и фуги для фортепьяно. Перед ним маячил призрак Баха в парике. Не верьте, это я так смеюсь. Музыка перед ним маячила. Его били, сажали в карцер, гоняли на дикие бессмысленные работы, но разлинованную бумагу не отбирали! И это было чудо!

Там, на Колыме, во тьме, у костра рассаживались узники, и отец мой рассказывал им всякие истории. Полярная ночь, дрова в костре трещат, узники кричат: Севу зовите, Севку, он нам как ща тут завернет! И он заворачивал. И про царских детей, и про пушки в Галиции, и про юнкеров Белой гвардии, и про красную конницу в донских степях, да мало ли про что. Блажен, кто посетил сей мир... в его минуты роковые, так?..

Отца освободили. Перед самой с немцем войной. Последний костер. Последние байки. Я спросил: батя, а что ты рассказал там, у костра, в последний раз? Он задумался. Отвечает: уже не вспомню. Вроде о том, как я с твоей матерью поцеловался. Впервые. Сидели и слушали тихо. Как музыку.

А потом, когда отец о поцелуе том первом рассказал, старый вор вытащил из кармана ватника золотое кольцо и отцу протянул. И шепнул: вот, музыкант, возьми, в Магадане продашь, доберешься до Владивостока, да на билет до столицы хватит, я уверен, только дорого продай. Скажи покупателю: за то золото кровью заплачено. И огнем!

И показал на огонь, на догорающий костер.

Отец сжал кольцо в кулаке. Может, оно было обручальное, не знаю. Я видел, через все года, через толщу воды, как по их лицам, вора и музыканта, ходили красные сполохи. Пламя взлетает светом суровым! Слышите музыку?

Закончилась война. Немца мы победили. Отец говорил мне: я на День Победы песню написал, и никто и никогда ее не исполнил, не спел, я сам себе ее дома пел, каждый День Победы, за роялем, рояль мне подарили соседи, почтовые работники, они на Центральном телеграфе работали, муж и жена, рояль им был ни к чему, мать твоя плакала от радости, все подходила к роялю и гладила его крышку, его резной пульт, шептала: рояльчик, помоги мне забеременеть, что ж я не беременею-то никак! А я, сынок, был весь истощенный, слабый, какое уж тут зачатие.

Отец бомбил письмами Кремль. Он орал в тех письмах: меня не играют! Не печатают! Это мертвая хватка! Дышать не могу! Дайте жить! Дайте мне жить!

На письма не было ответа. Отец вечерами горбился над роялем, импровизировал. Я наконец родился.

Когда я родился, из тайника в стене мама вытащила бутылку Пасхального кагора, налила в высокие хрустальные бокалы, их еще в Ярославле купили. И чудом, никогда и нигде, при переездах не разбили. Я орал в кровати. Есть старая фотография: лежу и ору, и так туго запеленут, что похож на белую гусеницу.

Когда я подрос, я полюбил играть в такую игру: вспоминать, вспоминать, нырять во время все глубже и глубже, и наконец добираться до младенчества, а потом еще раньше оказаться, и увидеть, и вспомнить, как ты рождался; а если поднатужиться и не бояться, можно даже вспомнить, как ты жил в животе у матери. Я — добирался до утробы. Я — помнил. Все так четко! В утробе было сладко, тепло, тайно, водорослево. Там меня обвивали красные горячие хвощи, в меня лилась небесная сладость. Я та-ял. Я жил и плыл, и больше ничего не надо было.

А потом наступила смерть.

Роды.

Меня мое время стало грубо, страшно выталкивать в другой мир! Я его не знал. Я туда не хотел! Я таранил головенкой узкую каменную щель, тесный живой лаз, вопил, распыливая рот, протискивался, клещи сжимали меня и давили, я умирал. Да! Умирал! Я рождался в смерть. Я туда не хотел! Толкали меня! Я орал, как пел! Никто не слышал меня! Вот сейчас я умру! Еще немного! Вот!

...И я выскальзываю в свет и воздух, и вдыхаю смерть, вдыхаю ее глубоко, мне надо умереть скорее! Больно! Это очень больно, умирать! Точно вам говорю! Никакой музыки в смерти нет! Там — крошечная чернота, пустота, встает стеной перед тобой, не хрипит иерихонской трубой... она — ты, и ты — она, молчанье без дна.

Тишина.

Глухота...

Зачем меня назвали не по-нашему — Людвиг? Мать и отец стояли у кровати. Смотрели на меня, я извивался в пеленках. Надо было червячку дать имя. Я понимал отца: мать на него глядела молча, послушно, он тут был главный священник всея музы-

ки. Я с моего неба, из-под потолка, слышал, как он сказал: наречешься Людвиг, в честь великого компониста Людвиг ван Бетховена, аминь.

По-немецки сказал: компонист. Der Komponist, ausgezeichnet, schön.

Моя мать родила меня дома, в роддом не поехала на «скорой помощи», она боялась, что ребенка в роддоме подменят, такие случаи бывали. Пригласили знакомую медсестру из поликлиники. За скромную мзду и огромный пирог с яблоками она приняла у матери роды. Меня приняла.

Я был чистым листом бумаги. На мне еще мир не написал ни одной ноты. Tabula rasa.

Рыдал надо мной золотой саксофон, вторили ему рояльные медные струны, а может, это плакали, кричали, пели и обнимались бедные люди у моей колыбели.

Рукописи, рукописи, рукописи, ру... Нотной бумагой был завален наш рояль. В той квартире у нас была печь, мы ее топили дровами, каждую осень покупали грузовик дров, складывали их в подвал. Я научился топить печь раньше, чем играть на рояле. Мышонок важно подходил к печной дверце и пихал в жаркий красный зев поленья, что в ручонках мог удержать. Мать не остерегала меня. Умиленно глядела, как я управляюсь с дровами. А потом с кочергой и огнем. Кочерга, кривая, ржавая ведьма, ростом была выше меня. Я ее еле поднимал. Но упрямо совал, совал в печь.

Знаете, я упрямый. Я везде суюсь, куда не надо. Сую руки прямо в огонь. Обожгусь?! Да плевать. Мы, русские люди, много чего видали! А мне часто в рожу тычут: Людвиг, ну что, ты кто, немец, еврей?! На что я, из перерусских русский, отвечаю громко и весело: да, еврей! И выхожу. И оглушительно хлопаю дверью.

Выпьем!

Отец умирал: он тоже рождался. Я видел, как он рождался в смерть. Это, я вам скажу, почище всяких других родов будет. Он изгибался, закидывал голову, торчал кадык, глаза выкатывались из орбит. Я смотрел. Он царапал ногтями простынку, матрац. Я смотрел. Губы шевелились, он говорил, я ни слова не разбирал, я не слышал. Я смотрел. Мне было четырнадцать лет. Все истинное вокруг было под запретом. Под замком. Все лживое и льстивое — разрешено. Отец мой был запрещен. Да так и остался запрещенным. Кости сгнили в тюрьме. На Колыме. Колыма повсюду. Ей нет конца.

Отец повернул голову на подушке вбок и застыл. Я смотрел.

Отец не двигался.

Я протянул руки... знаете, это были чужие руки... не мои... и этими чужими руками повернул его голову на потной подушке так, чтобы он смотрел холодными глазами вверх. В потолок? В небо? Вверх — это важно. Вверх.

Глаза были открыты. Я знал: надо закрыть. Но руки уже не поднимались, и пальцы мои не шевелились. Руки боялись прикоснуться к векам. Им казалось: они обожгутся.

Мать, за дверью, плакала, я слышал.

Потом она вошла, и сложила отцу руки на груди, и закрыла ему глаза. И беспомощно спросила меня: Лодя, а с собой туда, ну, туда, в гроб, ну, чтобы в землю с Богом уйти, кладут усопшему на грудь иконку или не кладут, я не знаю, а ты знаешь?

И я не знал, что матери ответить.

Я тоже не знал. Ничего не знал.

Не знаю и сейчас.

Я знаю, знаете, только вот что: есть смерть при жизни, да, есть эта чертова гибель, забвение и презрение, но ты же все равно живешь, дышишь, шагаешь, плачешь, смеешься, и значит, это еще не смерть. Жить как угодно?! Рабом?! Ползуном в пыли?! Ужом, лягушкой, рыбой в заросшем ряской пруду?! Предателем, гадом, мерзавцем?! А все-таки жить?! Так?! Так, что ли, я вас спрашиваю?!

А еще знаю, что... вырастет стена пустоты, черноты... там ни музыки, ничего... вся наша музыка останется на земле. Поэтому я мало что записываю, хоть я, как отец, со-

чиняю музыку. Я — импровизирую. Я прыгаю в музыку, окунаюсь с головой, ныряю в нее, плыву в ней, и кувыркаюсь, я ею наслаждаюсь, люблю ее, отдаюсь ей, обнимаю ее, она моя любовь, здесь и сейчас, сию минуту, навсегда. Я — музыка. Я — рояль. Ничего мне не жаль. Я живу. Я еще живу. Я умру — меня забудут. Так надо. На мне, рояле, играет Бог. Это Его пальцы. Это его аккорды! Они обнимают вас и кружат, они льются в вас вином. Кагором! Сладким, сладчайшим! Вот пока льются — смерти-то нет! Вы почувствуйте, знайте это! Но только пока звучу! Пока я звучу! Вот сейчас! И больше никогда!

Так... встать... ну, раз-два-взяли... еще раз, взяли... меня шатает... тихо, тихо, медленно к роялю подойду... селедка съедена, водка, увы, вся выпита... а еще бутылочки нет... вот несчастье... вот жалость... Нет... в жизни... счастья... Нет в жизни счастья, та-туировку у мужика в бане видел...

Мне — набейте...

Табурет, рояль, это я рояль, ну, вы поняли. Слушайте!

Я для вас. Только для вас играю. Этой музыки не было никогда. И больше не будет никогда. Я импровизирую. Я через минуту ее забуду. И хорошо. Не все надо записывать. Запись — это на века. А вдох и выдох — на миг.

Запись?! На века?! Все сожгут, что мы нацарапали. Все уничтожат! Вечного нет ничего! Но почему же, почему мы все пишем, и пишем, и пишем, все сочиняем и сочиняем, все рыдаем и рыдаем, всей музыкой весь наш окоем — жарко и крепко все обнимаем и обнимаем?!

Все живем, и живем, и живем... хлеб едим, воду пьем... в тюрьмах сидим, на волю жадно глядим... на Красную Звезду... она вся в инее на холоду... никуда не уйду... ни в каком году... ни в жару, ни в бреду...

Слышите рояль?! Слышите... Это я дрожу и плачу. Под вашими руками. Выпьем!

Хоть выпить и нечего.

Музыку выпьем. Она крепче водки. Сильно забирает.

Нет, я не боюсь умирать. Меня отец научил не бояться. Боящийся, он так говорил, несовершенен в любви. Это какие-то священные слова, Бог знает какие. Я не знаю. Я только звучу. Я — музыка. Я ничего не знаю. Ударьте меня! Оболгите меня! Облейте грязью! Бросьте в застенок! А я невредим. Я — музыка. Свобода.

Хрустальная рюмка, и кагор, звон медных, золотых струн под тяжелой черной крышкой. Рояль горит! Его жгут на задах! За сараями! А он кричит, плачет и смеется! Огонь! Костер! Никто не подарит мне золотое кольцо, чтобы я до Рая добрался, продал краденое рыжье и купил себе дешевый билет! Плацкарта, а может, общий, а может, телячий вагон, солдатская теплушка! Слышите меня?! Слышите?! Звучу! На весь мир! Я, рояль, и есть весь мир! Пейте меня! Пьянейте! Выпьем! <...>

\* \* \*

### **Mandolino**

Твоя бабка — лютня, о возлюбленная мандолина.

Твоя сестра — гитара.

Зачем ты здесь, в моем оркестре?

Чтобы я весело, рассеянно перебирала твои струны?

Тонкий чистый звон. Мандолина шепчет мне, бормочет о несбывшемся.

Я не могу ей возразить.

Я знаю: слишком мало времени, чтобы научиться на ней играть.

Можно только улыбаться горько; печально и тихо перебирать стальные тонкие струны.

Это струи дождя за окном.  
Это метеориты расчерчивают осеннее темное небо.

*(Елизавета и ее жизнь. Ария.)*

Моя Москва. Моя юность. Я юная, а как старая. Я себя читаю, как книгу. Я будто издалека помню консерваторию, Большой зал, Малый ее зал с моим родным органом, оркестр в зале Чайковского, похожем на позолоченные забытые гусли. Все старинное, все коричневое, как ломкое старое фото; его можно разломить, как печенье, и понюхать — пахнет ли сдобой, а может, гарью, а может, кровью. Коричневая фотография, коричневая. Пряная. Жизнь моя пряная, жизнь моя пьяная. Я стала музыкантом, потому что меня в детстве били нотами по рукам? Как мальчишку Бетховена? Нет. Я музыкантом стала потому, что я так родилась. И точка.

Я вижу себя. Девочкой, старухой — это все равно. Я сама иду на себя из тьмы. Наплаваю. Золотом в густом, ржаном мраке пылает мое лицо. Гладкое... все в золотых веснушках... вдруг сморщенное. Я очень остро чувствую время. Я музыкой играю время. Даже Людвиг так не может. Моя жизнь потрясающая. Она любого потрясет. А нет непотрясающих жизней! Всякая жизнь — трагедия. Кого ни копни, даже самого счастливого.

Я всегда была гадким утенком. Я не знала своей красоты. Ее знал один старик. Со всем одинокий. Никого рядом не было. Сам себя обихаживал. Наш сосед. Я его часто встречала. Жил в доме напротив. Не горбился, прямо ходил. Иногда прихрамывал, опирался на палку: нога, видать, болела. Потом, гляжу, опять без палки ходит. Я иногда с ним здоровалась. А он шел мимо и смотрел поверх моей головы. А потом однажды вдруг поздоровался. И поглядел на меня. И поймал мои глаза глазами. Такой бедный, нищий человек, в потрепанном пальто цвета печных головешек. Поглядел остро, мгновенно. Глаза безумца! И я как с ума сошла. Тоже мгновенно.

Я захотела к нему. Ближе, поближе. Чтобы сесть рядом, близко, и смотреть на него, и слушать. И, может, даже держать за руку. Я узнала, какой номер его квартиры в доме напротив. Поднялась по лестнице, постучалась. Он открыл. Не удивился. Дома он носил синюю рубаху, расстегнутую на груди. Пошел на кухню, поставил чайник. Дрова пылали в печке. Он ногой придвинул ко мне маленькую скамеечку: садись! На «ты». Ну да, я же для него малышка, букашка. Я села, протянула руки, грела их. Застеснялась. А старик мне говорит: знаешь, я ночами беседую с Богом! Потому, что я в Него не верю ни черта. И мне надо, чтобы Он сам мне сказал: Я — есть.

Все, безумец, я это знала, и вот подтвердилось. А он бормотал: я весь век ищу жену, я ее потерял, говорят, ее в войну расстреляли фрицы, да я в это не верю и никогда не поверю, дом старый, скоро снесут, у нас тут коммуналка, меня замучили соседи, а я ищу, ищу жену, ищу Бога в своих снах. А ты кто такая?

Я — это я, сказала я тихо. Думаю: погромче надо, наверняка старик глухой. Глаза в меня вонзаются, светло-синие, два лезвия. Кустистые белые брови насулены. Громче сказала: я музыкант. Фортепьяно, орган, клавиесин. Клавишные! Старик закрыл сморщенное лицо рукой. А! Музыкантша! Мощное дело! Пальчики какие! Я сейчас увижу музыку сквозь твои пальчики!

И он оторвал руку от лица, и схватил меня за руку, и поднес к лицу своему мою руку, и прислонил к своим открытым глазам. И глядел в щели меж моих пальцев.

У тебя плащ с капюшоном, скрипуче сказал, рот его, под моей прижатой к его лицу ладонью, смешливо и страшно изогнулся, зачем ты носишь капюшон? Чтобы не видали, какая ты красивая и молодая?



Я вырвала руку. Где ты живешь? У отца. А мать? У меня мачеха. А братья-сестры? Нет никого. Я одна. Я тоже один! Подружмся! Я всех музыкантов знаю. У кого занимаешься ты, молодая? У Маргариты Федотовой. А! Федотова! Знаю! Играет всего фортепьянного Скрябина. Молодец! Уважаю! Расскажи про нее. Ты была у нее дома? Была сто раз. Старая квартира, затхлая. Старые фотографии на стенах, коричневые, желтые, на них знаменитые лица. Расписные гжельские блюдца висят. Картины в багетах, позолота стерлась, масло под слоем пыли. Висит снимок: молоденькая Маргарита, а рядом с ней великий пианист Софроницкий, и глядит влюбленно. Маргарита мне говорит: ты голодна, поешь, вон ужин на рояле! Она на рояле ела и пила. На рояле читала. На рояле держала кипы нот, это была библиотека. Чтобы не мешать соседям музыкой, под молоточки подкладывала длинный шарф, тогда играешь почти без звука. Маргарита носит жемчуг в ушах. Когда я заканчиваю играть, я иногда смотрю на нее, рассматриваю ее, пока она говорит мне про мою музыку, ну, как я сыграла, хорошо или плохо. Жемчуг в мочке ее уха горит розовым, бледным огнем. Мне хочется потрогать жемчужину пальцем. Мне чудится: Маргарита — елка, и это Новый год.

А еще она говорит, что у нее есть любимый, его зовут мастер Генрих, и у него морда кота, а руки — ласковые змеи. Он волшебным образом играет на рояле, и он ее учитель. Кошачий пианист. Она говорит: мы с мастером Генрихом часто гуляем в метели по ночной Москве, и он берет меня под локоть и крепко прижимает мою руку к своей руке.

Мы с тобой тоже будем гулять ночью по всей Москве, говорит мне старик и опять пытается мою руку поймать, а я ее за спину прячу. Хоть сама его держать за руку так хотела! Ты мой дух, ты мой Ангел! Ты явилась! Вместо потерянной жены! Я ждал тебя! Звал тебя! Значит, Бог есть!

Мы ходили по ночной Москве. Все как старик и предсказал. Вот идем ночью, метелица, заволакивает фонари, туманный свет обливает нас, старик хрипит: Бог тоже сейчас ходит по Москве, я Его вижу.

Спросил меня: любишь Москву? Не успела полюбить, отвечаю, мы недавно переехали. Откуда? Я смолчала. Потом говорю: это неважно.

Он сажал меня на колени. Качал, как ребенка. Мы сидели перед печкой, я у него на руках. Я нечасто у него бывала. Он держал в холодильнике всегда, всегда лакомство для меня: осетрину горячего копчения, жимолостевое таежное варенье, сыр со страшной плесенью, я такой никогда не ела. Но вкусно. Он смотрел, как я ем, и сглатывал слюну. Я не скажу, как его звали, пусть его святое имя останется внутри молчания. Внутри музыки. Говорит мне однажды: знаешь, тенью, незаметный, тихий, в сумраке, невидный глазу, я один его вижу, сквозь всю настоящую погибельную Москву, сквозь видения всех праздников земных и красных... ко мне знаешь кто идет?.. Нет, мотала я головой, не знаю. А старик прижимал изморщенную щеку к моей горячей от печки щеке и возглашал торжественно, будто клятву давал: Царь Царей!

Кто такой Царь Царей? Это Бог? Он везде. Даже там, где Кришна мочит ноги в ручье. И на Казанском вокзале, меж полосатых халатов и замызганных тубетеек. И в дыму взрыва. И в мусульманской лунной мечети. Да что вы не говорите, кто это? Это дьявол, что ли?

Старик сталкивал меня с угластых колен. Ты видишь?! Видишь его? Скажи, что ты видишь! Приезжала из Испании Виктория де лос Анхелес, я был на ее концерте! Она поет, поет, поет... а потом вдруг — бац! — и застывает перед оркестром! И так стоит, и бледное лицо! Дирижер дал знак музыкантам прекратить игру! Шепчет ей что-то. А Виктория протягивает руку перед собой, пальцами перебирает, будто ищет, нащупывает неведомое и громко поет на весь зал по-латыни: Rex! Rex! И пианистка Радха Дэви, из Индии к нам прилетела, играла однажды концерт, и я там был, и вдруг руки

у ней на колени падают, и так сидит, и ужас на смуглом личике... адов ужас! И нищенка тут одна городская, знаменитая на всю Москву, Елена Федоровна, малорослый грибочек, а дочка графини, графья-ее-князя все выметнулись за рубеж нашей великой Родины, забредает как-то в церковь Воскресения Словущего, ну, в Брюсовом переулке, знаешь, на Неждановой по-нынешнему, певчие соловьями заливаются, все небось консерваторцы... а Еленушка Федоровна меня из прихожан светлым глазом выцепила, подковыляла ко мне, за руку схватила: ах ты, лепечет, мил человек, да ведь за тобой сам Царь Царей стоит! И я тоже, вроде тебя, молодая, спросил: Бог или дьявол? А нищенка прижала палец ко рту и стала пятиться к выходу из храма. Пятилась, пятилась да так задом и вышла. Молча.

И великая певица наша, царица Одинцова... и дирижер Фарид Закиров... юродивый Бетховена почище... оркестр под его руками стонал и плакал, звучал, будто на облаках в Райском Саду... все, все они видали-слыхали Царя Царей. Что толку говорить, кто это, раз ты не понимаешь?

А меня трясло, я дрожала, вся колыхалась, будто сквозь меня проходило сто ветров, сто слоев музыки, и внутри этой бури я наклонилась над стариком и впервые поцеловала его. И он поглядел на меня пронзительно, как перед казнью, и только сказал мне: спасибо, молодая.

Я ему сказала, как меня зовут, но он никогда не называл меня по имени.

Мы ходили с ним в Большой зал консерватории — не на концерты: на репетиции консерваторского оркестра. Я смотрела по расписанию, когда репетиции, я приглашала старика. Мачеха спрашивала злобно: и куда это ты, на ночь глядя? Я бросала через плечо, когда надевала пальто в прихожей: на репетицию оркестра! Врешь, кричала мачеха, я тебе не верю! Собирайтесь, спокойно отвечала я, пойдете со мной, потому что я знала: никуда она со мной не пойдет. Оркестр звучал, таял и взрывался, воздух колыхался, ветер овеивал наши лица, старое и молодое. Все на свете инструменты играли нам нас: нашу жизнь. И смерть. Да, конечно, они играли смерть.

Возник из-под земли, из воздуха и ветра мальчик один, его звали Лаврентьев, он влюбился в меня, но он был мне не нужен. Невкусный кусок моего времени я съела в тоскливой общаге. Я стала давать уроки музыки, ездить по чужим домам и ребятишек музыке учить, у меня появились деньги, и я сняла себе комнатенку в коммуналке около консерватории, во дворе дома, где была рюмочная. Для погибших — думочная. Мужчины, старые и молодые, приходили в рюмочную, заказывали себе вина, чаще всего красного, сидели за голыми, без клеенок, столами и тихо, медленно пили. И думали. Думали. Обо всем.

О жизни, о чем же еще.

Теперь я приходила к старику украдкой: чтобы меня из окна моей бывшей квартиры не увидели отец и мачеха. Когда стемнеет. Он ждал меня, подносил мне на блюдечке угощение: райское яблочко, вяленый вьетнамский банан, диво дивное. Я брала угощение двумя пальцами, подносила ко рту и ела тихонько, как лиска. А старик глядел на меня и бормотал: рыжая, рыжая и вся в веснушках, ну какая же золотая! И молодая! Молодая!

Мальчик Лаврентьев жил в общежитии. Однажды он завел меня к себе. Мне было любопытно. Я не хотела, но пошла. Так бывает. Между нами ничего не было. Сидели и слушали пластинку, «Аппассионату» Бетховена, играет Мирослав Риттер. Потом Лаврентьев пошел на кухню и заварил мне кофе в джезве. Кофе пах пальмами и ботинками. Я пила и смеялась. Потом я как-то раз забрела к мальчику на огонек, просто так. Запомнила номер комнаты. Толкнула дверь — а там Лаврентьев обнимается с латышкой Илзе с четвертого курса. Я захлопнула дверь и убежала в снег и ночь. Бежала и смеялась. Бежала и плакала.

Бежала, пока не наткнулась... на старика...

Разговоры за полночь. Старые снимки, коричневые, коричневые. Я окунулась в его родное безумие. Мне никто не был нужен. Только он. А от него — ничего не нужно. Только чтобы он был. И все. Я окуналась в его жизнь, как в купель. Как в бочку с холодной чистой водой. Он шептал мне: у меня мало времени. Лица, русские лица со старых фотографий все глядят и глядят на меня. Ты знаешь, молодая, сколько снимков я в печке спалил? Сколько жизней я сжег? Сам? Своими руками? Мне не надо такой памяти. Память не в лицах, не в ликах. Память — вот где. Он стучал себя костлявым кулаком в сердце. Ты видела моих соседей? Они все старики. Я вижу их жизни! Хорошо, что видишь. Тебе дано. Ты — рентген. Все тебе на просвет. Это и дар, и горе. Тебе с ним жить. Оставайся у меня? Полночь, и некуда идти.

Да, полночь, и некуда идти. Я впервые осталась на ночь у старика. Он постелил мне кровать. Нам. Белье оказалось на удивление чистое, хрустящее: крахмальное. Может, он не вынимал его из шкафа со времен войны. Я ему тихо сказала: а я уже успела замужем побывать, всего месяц и побыла, и у меня муж оказался сумасшедший, он меня чуть не зарезал, его в психушку затолкали, навсегда. Я спросила: вас это не пугает? Он беззвучно рассмеялся. Нет, сказал, не пугает. Меня, сказал, ничего не пугает. Не бойся. Я сказала: да нет, я не боюсь. Мы разделись, я осталась в комбинатке, он — во фланелевой теплой майке и черных семейных трусах. И так мы легли. Друг возле друга. Рядом.

Можно я дальше про это не буду?

Утром я вернулась в свою комнатенку напротив рюмочной. Меня шатало, будто пьяную. Я вспомнила: у нас сегодня две пары — полифония и история музыки, а потом у меня органнй класс. Но я не пошла в консерваторию. Я пошла в рюмочную. Заказала полстакана красного вина. Села за голый, как палуба, стол. Напротив меня сидел мужик, видом из глухой деревни, винцо потягивал и думал. Тут все думали. Молчали. Отовсюду, из всех темных углов на меня глядели старые лица, улыбались беззубые рты. Старость. Она пытается пить. И гулять. И я пытаюсь пить. У меня плохо получается. Меня тошнило, сладкое вино казалось горьким, полынным. Деревенский мужик напротив меня встал, протянул мне руку ладонью вверх: больно бледна, девка, даже с вина не разрумьянилась, айда на волю! Мы вышли, а уже стемнело. Я просидела в рюмочной полдня. Мы, рука в руке, подошли с этим хмельным дядькой к памятнику. Бронзовый Чайковский сидел, закрыл глаза, взмахивал рукой, дирижировал музыкой, она ему снилась. Мы оба сели на гранитную лавку под памятником. Мужик жалко, беззубо смеялся. Пьяно бормотал. Называл себя — Христом-Богом. Я тоже смеялась. Надо же было как-то ему отвечать! Вторить.

Потом, не сразу, время прошло, явилась я к старику. Он будто вчера со мной простился. Я прошла из коридора в его каморку, печь, как всегда, жарко горела, старик вытянул руки, будто плыл в холодной реке, и крепко, железно обнял меня. Так стояли.

Мы ходили с ним в Большой театр. Все оперы переслушали. Старик бормотал мне в антракте: Большой — это же герой, это не театр, это живое огромное существо, это воин времени, он много страдал, много сражался и еще сразится, и внутри него люди сражаются, вот вражда двух примадонн, одна другой не может Бога простить, ну, что одной Бог дал всего через край, а другой приходится бежать за ней по пятам, а у Бога богатство, как милостыньку, выпрашивать!.. а вот оперу слушаем сейчас, а ведь ее старый, как я, насквозь больной композитор написал, он сейчас умирает, а думает: вот я оперу написал, и я уже бессмертен!.. враки все, про бессмертие, нет его, нет и Бога, если он такой ужас на нашей земле попустил. И умолкал. А потом цедил: молодая, ты поди, поди к тому композитору! Поговори с ним. Вот как со мной.

И я, как под гипнозом, к тому композитору шла, узнавала адрес, телефон, звонила, дрожала от страха, а шла и садилась напротив кровати, где лежал он, великий человек, я понимала, что он великий, и что умирает, и ничего нельзя с этим поделать, я глядела на его худое зеленое лицо в подушках, его домашние смотрели на меня мрачно, как на прислугу, и я чувствовала, как они думают про меня: уйди! уйди! — а я думала: что умирающий видит перед смертью? Какие картины? Что слышит? Музыка? Какую? Самую прекрасную на свете? Самую ужасную? Композитор читал мои мысли. Он хрипел мне из подушек: знаете, девочка, я сейчас вижу человека в белой тоге, знаю, это апостол, я сейчас пишу такую ораторию, апостол Иоанн, это, знаете, любимый ученик Иисуса, многие не верят в Бога, они говорят, что Его нет, а я вот знаю, есть, но я Его не вижу, нет, а вот апостола — вижу. Послушайте обязательно мою ораторию, когда будет премьера! А меня уже не будет! Послушаете? Послушаете? Правда? Да?

И я отвечала: правда, да, — и не могла говорить, но боялась плакать, огорчить его слезами.

Он ведь тоже был уже старик.

Да, вокруг меня все время были одни старики: старые музыкальные профессора, старики моей коммуналки, старики на улицах, старики в моей рюмочной, старики уходящего коммунизма, солдаты Красной Звезды и последней великой войны, старики близкого будущего, потому что мы все, молодые, молча становились стариками. Старик был и двоюродный мой дед, я звала его — дед Митя, он жил на платформе Левобережной, туда я ездила на автобусе от Речного вокзала, а когда приезжала, он робко просил меня: поиграй мне, милашечка... Баха сыграй!.. Бах — это же открытые ворота... прямо туда!.. И он поднимал руки вверх, будто сдавался врагу на поле боя, а на самом деле он был герой, всю войну прошел, сначала в штрафбате, потом сапером, до Вены дошел, и кладбище, где похоронены Моцарт, Бетховен и Шуберт, нашел, и вынул солдатскую флягу, и выпил сначала на могиле Моцарта, потом на могиле Бетховена, потом на могиле Шуберта, а еще и могилу Штрауса отыскал. И глотал и глотал. Хлебал и хлебал. Разбавленный спирт. А может, чистый, может, в медсанбате плеснули сестрички щедрой рукой.

Я играла Бетховена деду Мите на исцарапанном черном, как паровоз, пианино «Красный Октябрь», а он сидел за столом, пил не спирт, а хороший коньяк, и плакал, и шептал: милашечка, я скоро умру, помяни меня в молитвах своих, да вот беда, молиться-то ты не умеешь, тебя не учили, красный галстук на шею нацепили, и делу конец, но все равно помолись, как умеешь, свечу в церкви поставь. Умру ведь! И сам не знаю, каково это, и в Бога верую, а — боюсь! Еще как боюсь! Ну что ты будешь делать!

Обнимал меня тяжелой старой рукой за шею, приближал ко мне шишкастую громадную лысую голову, горячую, печки горячее, и бормотал, уже несвязно: а ты не влюбилась ли, часом, милашечка, уж больно себе на уме, все молчишь и молчишь... молчишь и молчишь... спасибо, что хоть музыку старику играешь...

Да. Все были старики. И старухи. Я словно не видела молодых, своих ровесников. Я жила на пороге смерти и не знала о ней ничего. А мне никто и не говорил.

А тут одна старая тетка на паперти нашей, на улице Неждановой, церквушки Воскресения Словущего, вдруг заблуждала: обрушится страна, порушится!.. Обвалится вечная музыка!.. Конец земле родной грядет! И все побегут, побегут, как тараканы, как крысы с корабля! Прочь — побегут! В панике, в ужасе! Глаза вылупив, помчатся вон! Расстрелы грядут! пытки грядут! Казни на площадях грядут! Костры на площадях, на улицах разложат, огонь пылать будет, ночь поджигать! Град наш Краснозвездный слепить, пугать! Кострища до небес! Танки по улицам пойдут! Загрохочут гусеницами! Гул уши заложит! Великий гул! Великий ужас! Попомните мое слово! Вы! Глухие! Слепые! Немые! Вы...

Я слушала заворожено, как симфонию. Как неизвестную оперу. Меня за руку тронула старуха. Прошелестела: что стоишь, доченька, ступай, ступай отсюда, это тут одна актриска умалишенная, совсем бабенка спятила, ну, блаженная она, прибегает сюда и тут, у церкви, вопит, якобы это пророчества, а она с придурью, по-настоящему-то ей ведь лечиться надо, да в больничку никто не берет, мест, что ли, нет! Ступай, ступай! И легонько толкнула меня в спину.

И я пошла. А крики то вспыхивали, то гасли за моей спиной. Я старалась не слушать.

Но когда я пришла к моему старику, я ему все эти крики пересказала. Рассказала, и вдруг слезы сами потекли у меня по лицу. Я крикнула старику: все кончено! Вот! Люди чуют! Ничего они не чувят. Я расвирирела. Что вы отпираетесь! Вы же сами мне — про дьявола говорили! Дьявол победит! Ваш, этот, как его, Царь Царей!

Дура, веско сказал мне мой старик и сделал рукой такой жест, будто курил, а трубка невидима. Царь Царей — это ваш Бог. И, может, Он и вправду Царь. А тот, диавол, — он так и сказал по-церковному: диавол, — Царем лишь притворяется.

Ваш диавол одолеет! Да!

Нет. Мы все еще не видели Бога. Живого Бога. Мы не видели Его огня. А видим: вот, в печке горит. И все! А ведь диавол ко мне приходил. Знаешь, он обычный человек, из старого времени, из моего. Лицом коричнев, вот как старый снимок. В галстук, атласный узел толсто завязан, в фетровой шляпе пирожком. Шляпу не снимал, так в ней и сидел. Вот он-то и рассказал мне про все грядущее. Про скорую гибель нашей земли. А что это было? Пророчество? Пророчат только бедные люди. Диавол и так знает все наперед. Как Бог. Может, они братья. Я в Бога не верю, нет. Никак поверить не могу. Слишком я хлебнул горячего, чтобы верить в Него всей душой. Но я тут, да, вот тут, молодая, в каморе моей, около печки моей... пытаюсь — молиться...

Значит — что?! Если все и правда сгибнет! Значит, мир под дьяволом... под... диаволом — окажется?!

Ну что ты так орешь! Соседи сбегутся. Да нет, не сбегутся, я пошутил, тут одни глухие старухи. Да, мир очутится под диаволом. Безверие охватит всех. Да внутри безверия — знаешь что есть! Ты! Я! Я ведь люблю тебя!

Старик мой сказал мне это совсем просто, без всяких нежностей, без всяких лобзаний.

Но мы все-таки поцеловали друг друга. Это был второй наш поцелуй.

Старик шептал мне на ухо: Бог и диавол борются, они же враги навек, нет конца этой войне, но, молодая, если бы той войны не было, не было бы и нашего мира, поняла? Я кивала. Надо было соглашаться. Я не могла ему перечить. И не могла ни в чем отказать.

А потом в моей жизни стали появляться другие люди. Я все реже приходила к старику. Мне делали операцию, аппендицит, и хирурга, что мне живот разрезал, услали работать на войну, в другую страну; хирург мне писал оттуда нежные письма, а я ни на одно не ответила: у хирурга была семья, жена и дети, я знала. Консерватория награждала и изводила меня морями музыки, вокруг меня ходили, жили и умирали простые люди, просто — люди, гремели салюты на Красной площади, Москва моя, ты самая любимая, шептала-пела я себе, и это была правда, старухи торговали кошками в подземных переходах и около станций метро, я играла то музыку старых итальянцев, то прелюдии и фуги Баха, стояла у гроба деда Мити на его бедных, почти солдатских похоронах, разглядывала фрески в разрушенных церквях, мечтала о том, как я возьму под локоток моего старика, куплю нам обоим билеты на пароход на Речном вокзале, и мы поплывем сначала по каналу имени Москвы, потом по Оке, потом по Волге, потом по Каме, туда, куда не знаем сами, и сойдем, где не знаем сами, и пойдём

куда глаза глядят, и будем там немного жить, и заботиться друг о друге, и пить и есть горстями наше маленькое счастье, а потом возьмем и вернемся в Москву, к большой музыке, к грядущей гибели мира, ведь интересно же поглядеть, как мир рушится, и я воображала, как мальчик Лаврентьев, я его почти забыла уже, увидит нас вдвоем со стариком, и возревнует, и вызовет старика на дуэль, а дуэль назначит ему на вокзале, вот только на каком, не решила, на Курском, на Ярославском или Казанском, я почему-то видела перед собой Казанский, с его раскосыми лицами, таджиками, татарами, туркменами, казахами, и что, мыслила я, хулиганка, дальше, они будут стреляться, а оружия нет, они будут фехтовать, а шпага тоже нет, может, они будут драться просто так, врукопашную, и мой старик этого тщедушного мальчика положит одной левой, одной... Я шла в толпе, глядела по сторонам, два старика сидели на бульваре на лавке, один очищал воблу, другой держал в руке бутылку пива. Вобла астраханская, пиво «Жигулевское», старики столичные. А я? Музыкантша отличная, мыло земляничное... Никакого дьявола в моей жизни не было и быть не могло, да и Бога тоже. Мой старик уходил от меня в туман, в тишину. Я перестала приходить к нему. Я даже не знала, когда он умер.

На Арбате плясали поклонники Кришны в розовых хламидах, в исподних кальсонах. Их забирала милиция. На общежитской кухне индусы готовили рис со сливочным маслом и печеными абрикосами. В мою коммуналку напротив рюмочной въехал монгол Янданэ, сибирская лимита, его все звали насмешливо: наш Будда. Композитор, что написал ораторию об апостоле Иоанне, ушел в небеса, слушать небесную музыку. Меня однокурсники пригласили на тайный, в секретном подвале, мужской стриптиз. Я сходила, а потом долго смеялась. Моя подруга Люська подарила мне старую фотографию, коричневую, коричную: стоит гром-баба, а вокруг нее сидят звери, много зверей: лисы, волки, медведи, стоят корова, коза, слоненок, к ногам жмутся пять кошек. Подпись, по старой орфографии, гласила: МАТЬ ЗВЪРЕЙ. Мать зверей, шептала я, Мать зверей — вот так назвать симфонию. Или оперу. Если бы я писала музыку! Но я могу ее только играть.

В коммуналку, вслед за монголом Янданэ, вселился нищий художник; ему часто не на что было купить краски и картон, и он клячил деньги у жильцов. Художник предложил написать мой портрет на фоне персидского ковра. Я забежала к нему в комнату, оглядела унылый раскардаш: на стене висел пестрый ковер, никакой не персидский, а старый, вытертый, узбекский. Я спросила: а расплачиваться чем, собой? Художник крикнул мне в лицо: что я, подлец! Я села, скрестив ноги, по-восточному. Художник долго копошился около загрунтованной картонки. Потом позвал меня. Я глянула. Ужас какой, неужели я такая уродка? Пошла вон, заорал художник, ты просто тупая пробка!

Я ушла к себе в комнату, села у окна, глядела в ночь и чувствовала себя старой, очень старой.

Я видела мироточащую икону в темном, как кладовка, крохотном деревянном храме. Я спрашивала себя: зачем люди верят в Бога? Татарка Василия с нашего курса потащила меня в мечеть, мне там понравилось, светло, ясно, все мужики стоят на коленях, все женщины толкуются на балконе, и все в снежно-белых хиджабах, расшитых жемчугом и бисером. Праздник! Я хотела праздника. Мне надоела голодная, темная жизнь. Праздником в ней была только музыка, и я была счастлива: мой праздник продолжался всегда, вечно. Однажды я попала в застолье в доме одной знаменитой старухи. Мне сказали только ее имя-отчество. Мы ели и пили, старуха дирижировала пиршеством, на ее сухих корявых пальцах сияли два огромных перстня: с сапфиром и с кроваво-красным рубином. А может, турмалином, не знаю. Или гранатом. Потом мне сообщили,

что она внебрачная дочь Шаляпина, а еще княгиня, а еще полжизни прожила в Париже и в Риме, а еще, что наш пианист Мишка Знаменитый — ее правнук. Вон оно что, подумала я весело, значит, Мишка взаправду поедет жить в Париж. Или в Рим, на выбор.

Моя подруга Люська водила меня к гипнотизеру Рыкову — он погружал творческих людей в состояние транса и снимал у них всяческие профессиональные зажимы. Ну, чтобы пианист легко играл на рояле, а поэт легко стихи писал, строчил, как из пушки, а певец пел-заливался, а художник ощущал себя ну просто Леонардо, Врубелем, Рафаэлем! Я опять смеялась. И опять шла, куда вели, послушно. А интересно было. Мир, пока ты не погиб, надо поглядеть и на зуб попробовать все, что в тебе важно, вкусно и интересно! А потом можно и... Что? Умирать?

Да. Потом можно и умирать. Как все. Как все они.

Все, кто ушел.

Музыка! Праздник! Ты последний праздник земли. Твой огонь, царство огней! Музыка, ты — Царь Царей, а не кто-то иной! Царица Цариц, точнее! Все боги водят хоры воды вокруг тебя, Царицы Цариц. Царица, а ну давай протяни руку дьяволу, вражине твоей! То ли для проклятия, то ли для примирения! Неважно!

И дьявол, потрясенный тобой, моя Музыка, Царица, сядет перед тобой на корточках, скрючится червем и заплачет.

А я? О чем я плачу? А разве я плачу? Меня слишком больно били в детстве, чтобы мне сейчас-то, взрослой уже девочке, плакать. Мои слезы — все в музыке. В «Лунной» сонате. В «Аппассионате». В Моцартовом *Lacrimosa* из «Реквиема». В последней арии Виолетты. *Простите, дни золотые, радость жизни быстротечной! Я знаю, умираю, и молюсь я о жизни вечной!* Кажется, так у Верди. Нехитрый, корявый перевод с итальянского. В жизни есть только смерть, сказал бедняга Верди однажды. Что там у него стряслось, не помню. А... да. В эпидемию, какой там заразы, не знаю, у него умерли жена, дочь и сын. Ужас! А я ужаса не хочу. Я, прама-терь Ева, Елизавета, пока не царица, вместо отчества Вольфганговна, язык сломаешь, стыдливо записала в паспорте — Владимировна да скоро ею стану, царицей музыки вся, хочу — праздника. Жизнь — это праздник! Только никто об этом не знает.

Жизнь — это Райский Сад. Там огонь в старой печке. Там старые снимки по стенам в трещинах. Там...

Там небо. Я спала с ним на груди. Я глядела небу глаза в глаза. Оно старое. Очень старое. Древнее. Ему нет времени и нет конца. Никакой ему смерти нет.

А в детстве я играла на мандолине, у отчима моего Вольфганга, поддельного отца, в спальне висела мандолина, старенькая, вся дека в трещинах, и я, когда никого дома не было, украдкой, по одной половице, пробиралась в отцовскую спальню, снимала с гвоздя мандолину и щипала ей струны, будто из убитой птицы пух выщипывала. А потом ухватывала мандолину за гриф, ползала по грифу пальцами, струны крепко прижимала. Играла. Мне казалось: я играю.

Так и научилась.

А мачеха однажды домой явилась, а я сижу, на мандолине брямкаю, а она как выхватит у меня мандолину из рук — да мне по башке, по башке, по лбу, по затылку! Да по плечам, по рукам, по груди! Я узнала, как человек ненавидит человека. Страшно это.

А жизнь такая большая, огромная, тоже страшно.

А ближе к концу, наверное, будет маленькая. Так все говорят. Жалуются.

Старик, ему жить оставалось мало. Он не знал отмеренного срока. Не вылезал из кожи, чтобы его продлить. Не шастал по врачам, не лежал в лазаретах. Он не знал, что я после его смерти свяжусь с Шалевичем, мировой звездой, гордостью советской музыки. Да так свяжусь, что еле выберусь из его лап. Что мой старик видел яркого? Да толь-

ко огонь в печи. А еще он видел то, что нам, молодым, видеть нельзя. Ни при какой погоде. Старик жил один. Без меня. Спал. Пил чай. Сосал сухарь, окуная его в чашку. Вспоминал. То, что нельзя вспоминать. Один. Одиночество. Раздумья. Слезы. Нет: глаза сухие, плачут потроха. Нутро ревет и рыдает. А снаружи — ничего. Пустыня. А где же праздник? Где жизнь? В какой поход пойти за ней?

Никто не приходил к старику, кроме меня.

И даже мертвая его, расстрелянная жена не пришла. Никогда.

Ни в музыке. Ни во сне.

Я болтала с нищим художником на коммунальной кухне, мы подружились, он спрашивал меня: а тебе вот ставят на рояльный пульт партитуру, как ты ее читаешь, а как можно глазами охватить двадцать четыре, или там сколько у вас, тридцать три нотные строчки, ведь это же с ума сойти! — а я хохотала: вот и схожу! Я рисовала с художником запрещенную правительством свастику, тибетский знак суувастик, на плохо загрунтованном картоне, бормотала вместе с Янданэ красивые буддийские мантры: ом мани падме хум! — била в бубен, дергала за веревку медного колокольчика, учила английские глаголы, завтра зачет, бежала заниматься в Малый зал, сегодня органная репетиция, с одиннадцати вечера до двенадцати ночи, а вам не поздно, товарищ Нагель, нет, нормально, я живу рядом, — а он, мой старик, был один-одинешенек, вечерами, ночами, перед смертью ночи самые длинные, а дни самые короткие, он зажигал в квартире все, что можно зажечь, все, что горело, перед смертью ведь тьма самая страшная, надо света, больше света, больше света и музыки, включить радио, а там молчание, ночью вся музыка молчит, она беззвучно молится и плачет, вот она еще может плакать, а перед смертью слез нет, и денег нет, и людей нет, и нет ничего мирского, и нет видений, и нет плоти и крови, а есть только счастье живое.

Такое далекое счастье! Он видел, вспоминал. Как, когда вернулся из северных лагерей, увидел Свою Женщину. Она стояла в очереди за молоком. Пригнали машину с цистерной, огромными буквами на ней было нарисовано: МОЛОКО. Старик, тогда еще не старик, увидел Свою Женщину и пошел за ней. Догнал, разговорились. Он взял у нее из руки бидон с молоком. Шел рядом с ней — она говорила и хватала морозный воздух ртом — у нее дикий, вечно пьяный муж — и пятеро детей — а я только из лагеря — я болен насквозь — я скоро умру — но пока я живу — да, пока я живу — иди ко мне — я буду любить тебя — я буду любить тебя и детей изо всех сил — ты так похожа на мою жену — а ее расстреляли — а тебя уже не расстреляют — нет — нет.

Что — нет? Нет — да? Или нет — нет? Ты идешь со мной? Она пошла с ним, и это была я, там и тогда, и это был наш последний праздник — ведь музыка кочует, она не исчезает с лица земли, ее не вытереть, как слезы, не смахнуть, не растереть по ледяному лицу зимы. Она или есть, или ее нет.

Я не смогу это все сыграть. Никогда. Мне же отрубили пальцы.

Не надо вспоминать.

А перед самой смертью ему, наверное, снился Благодатный Огонь во храме Гроба Господня, он мне так часто о нем говорил, начинал говорить и бросал, огонь жег его изнутри, и он боялся, что он сожжет и его, и меня, снилась Пасха, его собственная, личная Пасха, никогда и никем не пережитая, его тайный, запрещенный праздник, она развернулась перед ним во сне павлиньим хвостом, солнечным веером, и он заплакал во сне от счастья: я один, один увидел тебя, молодая!.. — а сон исчез, и он проснулся опять один, и вздохнул прерывисто, как дитя после плача, и тихо сказал: один. Она ушла.

Форточка была открыта, и кошки входили в форточку, а потом выходили опять, прыгали на карниз, охотились за голубями, и старые фотографии сходили со стен, коричневые, коричневые, и прыгали к нему в руки, на грудь, на живот, закрывали ему ли-



цо, заслоняли его от живой крови и живой боли, снимок — это лишь отпечаток жизни, а не сама жизнь, а музыка — не отпечаток, она текучая и живая, она — огонь, живое пламя, пусть молодая мне музыку сыграет, ведь все умирают, и меня никто не пощадит, ни Бог, ни царь и ни герой, ни Царь Царей, и уж никакой не диавол, да я и сам себя не пощажу, гори я синим пламенем, сдерни с гвоздя детскую мандолину, об этом сыграй, молодая, хоть тебе и отрубили нежные пальчики, не плачь, молодая, не плачь, будь добра, подложи дрова в печку, пусть разгорятся, я всего лишь полено, я просто топливо, подтопи мною холодный жуткий Космос, вечные тюремные снега, подогрей, обласкай. Дороже ласки нет ничего на земле. Любовь умирает. Потому что она тоже живая. Но она воскреснет. Я не верю ни в какое воскресение, но она, она-то воскреснет. Ведь она — Бог. В нее можно верить. И ты верь.

\* \* \*

#### БЕТХОВЕН. ПОСЛЕДНИЙ КВАРТЕТ ФА-МАЖОР

Переплетаю звуки — устала сиять — ждать — прощать — со дна разлуки поднимается благодать — сдаю последние карты — латаю последний жилет — гляжу бесстрашно и ярко — пишу Последний Квартет — пишу пылающей кровью — течет и выходит вон — свечою у изголовья — чернилом иных времен — иной враждою смертельной — иною склянкой, где яд — крестом нательным — бредом постельным — в палате, где все не спят — в том лазарете мышинном — на острове — на мысу — иду к Причастью с повинной — в ладонях кус хлеба несу — да, зри! — накормить голодных — да, слышь! — оделить бродяг — насквозь на ветру холодном продрогших тех доходяг — переплетаю жизни — переплетаю огни — Последний Квартет, повисни Полярной звездой, мигни — светлеет музыка после засилья довременной тьмы — сияет музыка после войны, пытальной тюрьмы — сверкает последним алмазом — в короне всех Северов — ах, слезы — уж лучше сразу в тебе погибнуть, любовь — переплетаешь вздохи — очи — и времена — птицам зимние крохи... Музыка — и тишина. <...>

\* \* \*

#### Harmonium

В каждой семье. Да, в каждой семье.  
 Эти звуки. Эти мелодии, заунывные и любовные.  
 Эта бабкина старая фисгармония.  
 Погоди отдавать ее в гордый заоблачный оркестр!  
 Она еще в доме твоём послужит тебе.  
 Нагнетай воздух педалью, нажимай на медный пороссячий пяточок под подошвой, нажимай.  
 Трудись.  
 Музыка нужен воздух.  
 Человеку тоже потребен воздух.  
 Без воздуха музыка задохнется.  
 И человек задохнется.  
 И зверь.  
 И птичка.  
 Воздуху мне! Воздуху! Откройте все окна!

Звучи, музыка!  
Я слишком люблю тебя. Слишком.  
Я не вынесу этой любви.

*(Люська, ночная флейточка.)*

Времена, кто вас перетасовал, времена? Нет, не я. Я в этом ничего не понимаю, в небесной карточной игре. Я сегодня сидела-сидела в консерваторской библиотеке, в читальном зале, пятую точку отсидела. Читала очень интересную книжку про Людвиг ван Бетховена. Писатель Роллан написал. Как Бетховен жил и страдал. Он все время страдал. Сильнее, чем все мы, вместе взятые. И то, представить, что он оглох... оглох совсем, навсегда... почти все, что написал, он глухой написал... Сижу, лампа горит, книжка в круге света лежит, я сижу и реву, скулы мокрые ладонями вытираю, носового платка нет с собой. Встала, когда библиотекарьша возгласила: товарищи, закрываемся! Еле встала. Еле спину разогнула, как старуха старая. Засиделась! И то правда, что это за жизнь, все время сидим: за роялем сидим, за органом сидим, за клавишином сидим, на лекциях восседаем, в библиотеке сидим и подавно, ночами в общаге за столом сидим, глаза вылупливаем, башку рукой подпираем, чтобы сон тебя не смыл, как волна. К экзамену готовимся! Сидим, сидим. И — играем. Играем, играем! А люди в зале сидят, и слушают с наслаждением, и думают: вот непыльная работенка, музыка, пальчики по клавишам, по струнам резво бегают, музыкант личико к потолку закидывает, под музыку — о своем — мечтает! Красотища! Это вам не лопатой землю рыть! Не шпалы меж рельсов укладывать! Это — изящно!

...Изящно, да, изящно. В холода пальцы, после занятий в репетитории, трескаются около ногтей, и идет кровь. Кровь эта заливает клавиши, а боль дикая. А ты заливаешь пальцы коллодием, клеим БФ-6, потому что замотать бинтом — это значит палец утолстить, и опять к инструменту. Что есть музыка? Это боль. Так же, как любовь.

Любовь — это боль. Так все говорят. А меня еще никто не любил, и я никого еще не любила. Дворник Юг, неудавшийся писатель? Да, я рыдала громко, на всю спящую общагу, когда он мне сказал однажды: я не люблю тебя! А потом крикнул мне в лицо: да, я люблю! Но не тебя! А потом подошел ко мне, будто подполз, и тихо пробормотал: ну что ты дуешься, Косая Челка, ну ты эти штучки брось, люди встречаются, люди прощаются, люди... Женятся, докончила я, глупо так сказала. Это напомнило мне какую-то эстрадную песню. А Юг погладил меня по голове, как приبلудную кошку. А я взбесилась и смахнула локтем посуду со стола. Всю. Смахнула. На пол. И посуда разбилась. Не вся. Фарфоровый чайник с японским веером на боку жив остался.

Музыка — вот судьба. Это рок. В этой симфонии мы все, каждый, — кто скрипка, кто труба, кто хрустальная челеста. Падает музыки водопад! Разбивается на тысячу кусков! Мы кричим, пляшем и плачем, а людям кажется, это звучит музыка. Рок! Как это греческое слово-то... а, да! Вспомнила. Ананке. Античная, короче, трагедия! Снеговые колонны, и между них ты идешь, бродяжка и сиротка, и что тебе Москва, когда ты знаешь: вытолкнет она тебя из себя, и ты будешь бежать, все время оглядываясь на нее, любимую, а она плюнет тебе вслед! Грозные колонны, и мрамор на глазах крошится и опадает на город снегом, это вердиевская колоннада, ты выбегаешь на площадь, будто в центр сцены, а там все дрожит и звучит, и наша Ванда, гордость наша, светоч оперный, поет арию, поет-заливается, Леонора, а может, Джильда, а может, Эболи. Мне ребята сказали, она воевала в Афганистане. Елки-палки! Я так выдохнула: елки-палки, когда услышала. Подумала и спросила: ребята, а вы не врете? И Андрюшка Диев, с четвертого курса, презрительно плюнул себе под ноги и сказал, будто бы он был в тюрьме заключенный: обижает, начальник.

А я тепло оделась, обвязала вокруг шеи мохеровый шарф, это Ева мне подарила, сама связала, вязала ночами, всунула ноги в мохнатые сапоги, похожие на валенки, и пошла гулять по ночной Москве.

Милая моя, родная моя, ночная Москва, как люблю тебя я, ты вся моя мечта, остаться бы в тебе навек, да никто замуж не возьмет, а ты, мать, меня не пригреешь, не обласкаешь, такой лимиты у тебя — пруд пруди. Иду по тебе юродивой, а сейчас на встречу мне из-за угла выйдет Мастер, за ним Маргарита, и зазвучит «Фауст» Гуно, а за ними, тенью, прижимаясь ближе к стенам домов, пройдет Булгаков. Модный роман! Читают все! Рвут друг у друга из рук! Кто-то плюется: ох и дьявольщина! А кто и смеется: ха, хорошо автор тут над всеми посмеялся! И над религией, и над бюрократами, и над бессмертием! А вон в том мрачном, как серый скелет, доме живет великий Шалевич. Его симфонии везде играют, его оперы по всему миру ставят. Мощный он, силища. Моя профессорша, Маргарита Федотова, всю его фортепьянную музыку переиграла. У него в гостях сто раз была. Я стеснялась спросить, как там у него дома. А однажды Маргарита пришла в класс, села за рояль и положила локоть на открытые клавиши, и они все, разом, брякнули и тяжело простонали, будто заболели. Я спрашиваю: Маргарита Алексеевна, что с вами? может, чем помочь? водички... А она мне: да нет, не надо, Людочка, пройдет, я только что от Шалевича, у него сидит эта ваша, ну, пианистка, с библейским именем, Ева, она сейчас ко мне в класс просится, возьму, талантлива, да дело плохо, перед ними две бутылки, одна водки, другая красного вина, сидят и пьют, и Шалевич в стельку назюзюкался. Я опешила. Не знала, что ответить! А Маргарита мне: ну ладно, знаешь, есть такая пословица: хахали приходят и уходят, а музыка остается! Поплакали, и будя!

Я даже не думала никогда, что профессора консерватории могут так грубо разговаривать. Маргарита крикнула: давай играй! С Тридцати двух вариаций — начинай! Я почувствовала себя пловчихой на вышке. И далеко подо мной бассейн. И надо прыгать. А то вышку подорвут. Гранатой, снарядом. Как на войне.

И я прыгнула.

Бетховен, сжимала я зубы, когда играла, Бетховен — это ты, и я так тебя люблю. Я буду любить тебя всегда. Хахали приходят и уходят, а ты — остаешься.

Москва сыпала мне в лицо мелким снегом, а я шла, мимо мрачного дома Шалевича, по улице имени великого пролетарского писателя Горького, раньше она звалась Тверская, по Тверской-Ямской да с колокольчиком, стоят дома, сверкает в ночи мрачный красный гранит, он тайны хранит, из всех московских-окон-негасимый-свет на меня смотрит вечность, а мне и горя мало, я иду мимо мертвых камней, я слишком живая и горячая, чтобы сейчас, вот сейчас стать гранитом, мрамором холодным. Лучше пусть я буду голодной. В горе неисходном. Когда-нибудь, это еще не скоро, я стану старухой, буду слышать вполуха, буду кашлять надсадно и глухо, и лицо мое будет светиться во мраке свечой золотой, время, слышишь, постой. Нет! Время, иди! Беги! Родные мы, не враги. Ты только, Время, для меня любимую ночную Москву... сбереги...

Я шла по Москве, читала таблички — названия улиц, узнавала дома в лицо, замыкала хода кольцо, я звучала, музыкой звучала, я начинала сначала, я всегда начинала сначала, от площади до ледяного причала, от метро до вокзала, я много могла пройти, я никогда не боялась пути, легкие ноги, помоги мне забытый Бог или боги, главных в жизни немного, главного в жизни — немного: музыка, твое сердце, дорога, и слезы, слезы у чужого порога.

А знаете, Ева мне рассказала одну ужасную историю. Просто жуткую! Пока иду по Москве, пока снег колюче вонзается в голое лицо, вам расскажу. Связалась она, еще когда в музыкальном училище училась, с одним безумным пианистом. Ну сумасшед-

ший, естественно! На учете состоял в психушке. И вот влюбились они с Евкой друг в друга. Любовь до гроба, дураки оба. И даже — салаги такие — расписались! Им на встречу в загсе пошли: ему восемнадцать, ей семнадцать! Они так плакали, уж так упрашивали загсовских теток, и их окрутили! И стали жить не тужить, и тут ее пианист взял и окончательно прыгнул с ума. Взял однажды нож со стола, здоровенный тесак кухонный, чтобы мясо резать, и гонялся с тем тесаком за Евкой по комнатенке, хотел Евку убить! Ему родители комнатенку снимали. Ну как же: молодые, медовый месяц... И Ева выскочила на балкон, а третий этаж, зима, перекинула ногу через перила и сиганула вниз. И упала в газон, в сугроб. Вечер был, не поздний. Вечер был, сверкали звезды, на дворе мороз трещал! Шел по улице малютка, посинел и весь... дрожал... Как бы я не хотела умереть ночью! И — на улице! И — чтобы меня убивали! Жуткая смерть! Когда тебя убивают!

Ну, тут люди набежали, фонари горят, все видно, видно, как девчонка полуголая из сугроба на тротуар ползет, на ноги встать не может, ногу сломала... Из автомата люди вызвали ноль-три, «скорую». Приехала «скорая» и увезла Евиного дикого муженька прямо в психиатричку. А ее в хирургию.

И она предпочитает о нем не вспоминать никогда. А я спросила ее: где он сейчас? Она голову наклонила. Тихо отвечает: он в закрытой лечебнице для особо страшных психов пробыл два года. А потом его выпустили на волю. И он уехал. Он сейчас в Англии. В Лондоне. Дает уроки музыки. Иногда на сцене играет. Он очень хорошо исполняет «Хорошо темперированный клавир» Баха. Весь. Оба тома. И опустила голову еще ниже, и я видела, как ее слезы падают ей на колени. Крупные. Как дождь.

Боже, сделай так, чтобы меня никогда не убили! Я так этого боюсь!

Иду и думаю: а ведь убийство может быть не только телесное, но и другое, ну, как бы это точнее сказать, невидимое. Слово лечит, слово ранит. Словом можно вылечить, а можно и убить. Скольких людей убили вот так, незримо.

А музыка? Почему она их не спасла? Почему человек, когда на него нападают и убивают его, не слышит никакой музыки, а только видит мрак вокруг, и ужас болью разрывает его надвое? Я слышала в деревне, как визжит свинья, когда режут ее. Это нельзя слушать. А человек ест, и ест, и ест мясо. И убивает, убивает для своего брюха — живое, живое, живое.

Музыка — это, я прочитала недавно в библиотечной книжке одной, это метафизика. Я так представляю метафизику: это человек спит, а над его головой взлетают радуги, молнии, сполохи, а он спит и не видит их, даже во сне, вот это и есть метафизика. Она есть, но ее нет для спящего человека. А вот когда музыка звучит — человек понимает: невидимое — есть! Тайное — есть! Поэтому он так от музыки дрожит. И плачет. Я когда на концерте сижу, тоже вся дрожу. И плачу. А люди рядом, бывает, удивляются. Однажды меня сосед, юноша сердитый, локтем в бок толкнул. Шипит: девушка, вы что так громко рыдаете! Вы мне — музыку заглушаете! Я опомнилась. Рот ладонью заклеила. Так сижу. А слушали в Большом зале консерватории Седьмую симфонию Бетховена, и это была вторая часть, Allegretto ля-минор.

Парень, наверное, подумал: ну вот, юродивая. Сидит и рыдает на весь зал.

А мне, знаете, все равно. Ну, кто что обо мне подумает. Хотя я очень стеснительная. Я часто думаю о других и почти совсем не думаю о себе. Да, может, я юродивая. Галька-курянка объясняла про юродивых. Они, говорит, живут при монастырях. И монастыри и насельников их своими молитвами спасают. Тут Галька крестилась, а мы с ужасом глядели на нее и кричали: Галька, брось ты эту чепуху, ты же комсомолка!

Когда-нибудь молодая комсомолка станет старой, дырявой фисгармонией. Фисгармония — это же маленький органчик, домашний. Забава бабушки. Там все, как на

настоящем органе, только крошечное, игрушечное. Там можно, как на большом органе, и регистры переключать. Включите мне флейтовый регистр! Пусть флейта запоет, флейточка!

А я буду работать, работать угрюмой ногой... жать, жать на педаль... накачивать, накачивать воздух в угасающие легкие, в меха, железо, теплое дерево...

Иду по Москве, а в ушах столбами встает новая, Тринадцатая симфония Шалевича. Там удивительное место одно есть. Где одинокая флейта звучит, флейточка. Сначала мощный, на полмира, разлив струнных, скрипки просто захлебываются от восторга... а потом обвал в тишину. И молчание. Будто был-был мир и кончился. И в этом конченном мире без мира — поет флейта... флейточка. Она так поет! Всех оплакивает. Будто люди пировали-пировали в застолье, животы набивали-набивали — и вдруг стол со всеми яствами взял да и провалился в тартарары. А флейточка над этой яминой поет. Поет и поет! Не умолкает. Потому что она — правда! Она одна устала от лжи! И она одна — любовь! Пиршество в Кремле, да где угодно, а несчастный композитор пытается сыграть на флейте, спеть глухим людям о том, как нельзя продаваться... и продавать... Моя партитура горит! Сожгли! А вот же, осталась моя флейта. Одна. И она звучит и стонет. В симфонии. В опере. Во мраке. На ночных московских улицах. Во снежном поле... Старуха держит флейту в корявых руках, подносит ко впалым губам... слабо, беспомощно дует в нее, нажимает земляными пальцами серебряные клапаны... Симфония ты или опера?! Опера или симфония?! Нет! Ты просто маленькая флейта!

И ярчайшая твоя жизнь! Эй, Москва! Слышишь! Ты же не глухая! Только о ней никто не знает! И ты тоже! И не узнаешь! Никогда! А мне все равно! Пусть я в жалкой музыкальной школке... на окраине нашей великой страны... в заштатном сером городишке... с тоски погибну... а — в музыке... в музыке...

Научусь играть на флейте.

Ночь, дома, снег. Над крышами — в далеком далеке — Красные Звезды. Они прозрачные, обволокнуты дымкой метели, метелица колет мне щеки, я иду как невеста в прозрачной фате. Красные Звезды, они тоже невесты. Они все нынче ночью выходят замуж за Время. Я — на ночной свадьбе. Звезды поют молчаливую оперу. Воет ветер над головой. Снег вихрится. Он так же падал, когда по улицам этим ходили, запахиваясь от ветра в шубы-пальто, все великие мертвые люди. Вечно живые. Чайковский. Суриков. Чехов. Шаляпин. Пастернак. Цветаева. И Иоанн Грозный ходил. И Пушкин ходил. И кто только тут не ходил. И вот я иду. И народ идет. Мало на улицах людей. Поздно. Все спят, завтра на работу. Будильник, и гимн, и на зарядку становись. Под музыку зарядку делай! Зарядка — это ведь тоже музыка.

Ночь. Я. И флейта. Одна. Флейта одна, а я уже не одна. Флейта со мной, флейточка. Иду, а она звучит. И я плачу, чертова Косая Челка, оторва, консерваторка, хулиганка, Люська Рудова, живая Красная Звезда, на улице ночной столицы нашей Родины, города-героя Москвы, о том, чего не будет никогда.

\* \* \*

#### БЕТХОВЕН. ОДА К РАДОСТИ

Радость, я тебя не знала вот такую, вот такой. Радость, все начнем сначала — смейся, вой, рыдай и пой! Радость, ты объятье звуков, позабытых мной давно.

Радость, ты раскинь мне руки — ты пьянее, чем вино! Я люблю тебя, глухая.

Я люблю тебя, слепой! Ты мои ворота Рая — Ад мне тоже ты открой! Не боюсь его с тобою! Мы видали тьму и смерть! Рукопашный ужас боя... Боль — молиться

не посметь... А теперь — ты на полмира разлилась весенним днем! Радость!  
ненависти дыры нитью мы твоей зашьем! Кружим светлым хороводом! Крепче  
за руки держись! Меж природы, меж народа мы тобою славим жизнь!  
Ах... сияющие очи... в пол-лица... и в полземли... я умру однажды ночью...  
так уходят корабли... И слабеющей рукою покрещу тебя навек —  
Радость, Райского покоя невесомый, чистый снег... <...>

\* \* \*

## Chitarra

Я пою им обоим под гитару.  
Перебираю струны, мурлыкаю, а они меня не слышат.  
Они далеко, они едут в поезде.  
Они едут к новой жизни.  
А есть ли она в мире, новая жизнь?  
Может, все вокруг старое?  
И новая музыка — тоже старая?  
Я пою им обоим под гитару, а они трясутся в далеком поезде и не слышат дале-  
кую музыку.  
Мою — музыку.  
Но я играю и пою все равно.  
Все равно.

*(Людви́г и Ева. Дуэт.)*

Прозрачная ткань, ее костюмерша осторожно, мелкими силками сошьет, для при-  
мерки солистке, и сквозняк из-за кулисы тот газовый нежный туман отдует вбок, и мож-  
но будет увидеть лицо, слабый чахоточный румянец. Виолетта Валери, великая Трави-  
ата, умерла, вы об этом знаете? Нет, ничего в газетах не писали. Все слухи и сплетни.  
Она небось сейчас в своем особняке на Мальдивах. А вы в курсе, что у нее дворец  
на Майорке? О нет, в Италии, в окрестностях Абруццо! Ах нет, вы все напутали, этот  
дом звезды во Франции! На Роне, близ Вьенна! Там, где знаменитые виноградники!

Прозрачная ткань веселого дня. Европа нежит древние кости, лежит, бесстыдно  
раскинулась под мягким солнцем, и экспресс пересекает ее, чужую землю, зачем они  
тут? На гастролях? О если бы на гастролях! Людви́г и Ева мчат в поезде, и нежное солн-  
це за день так нагревает жестяную крышу вагона, что в купе нечем дышать. Людви́г ре-  
жет для Евы лимон на картонной дорожной тарелке. Кладет ломтик лимона в дорож-  
ный чай. Поезд трясет. Чай выливается из чашки на салфетку. Ева морщится.

— Не трудись, Лодя, я сама.

Ева пытается подцепить ручку чашки мизинцем и безмянным. Не выходит. Чаш-  
ка валится у нее из беспалой руки, она еле успевает расставить ноги в дырявых, по моде,  
джинсах, чай разливается по полу, чашка разбивается с легким радостным звоном.  
Людви́г поднимает осколки, кладет на вагонный стол.

— Не огорчайся. Я заплачу проводнику. Или кому тут, узнаю.

Ломтик лимона кислой слезой великана лежит на полу. Людви́г поднимает его и бро-  
сает в открытое окно. Обе руки Евы забинтованы плотно, надежно. Будто в белых пер-  
чатках. Людви́г смотрит на ее руки. Смотрит. Смотрит.

— Ну что ты смотришь, — шепчет Ева.

Прячет руки за спину.

— Я буду твоими руками, — тихо говорит Людвиг, и берет руками ее руки, и вынимает из-за ее спины, и кладет ей на колени.

Он везет Еву к лучшим французским хирургам. Есть мечта — сделать Еве бионические протезы. Они чудом нашли громадные деньги в Москве. Да нет, какое тут чудо. Почти всю сумму на живые протезы дал им Шалевич, когда-то проклявший Еву. Страшное проклятие, ты сбилось лишь отчасти. Может, Шалевич пытался загладить свою вину? А разве вина — это мятая рубашка? Разве это стрелки на брюках?

Тени ходили, метались по стенам купе. Солнечные пятна прыгали, скакали. Состав содрогнулся и встал. Поезда здесь у вокзалов стоят мало: три, четыре, пять минут. Люди успевают только выйти и войти.

Поезд стоял смиренно, как конь. Время бежало быстро. Вот сейчас. Сейчас поезд тронется. И они выйдут уже в Париже. Экспресс Лион—Париж. Три часа пути. В Лионе у Людвигу был концерт. А она при нем. То ли служанка, то ли жена, то ли калека. Каллика переходящая. Нельзя так с собой шутить, Ева, ты еще будешь играть на фортепьяно. Так тебе лживо, весело пообещали.

— И на перрон тут не выйдешь, как у нас, — изогнул усмешливые губы Людвиг.

Ева подняла уродливую забинтованную руку и погладила его твердой ледяной белизной по виску, по щеке.

— У тебя волосы отросли. Лохматый.

Он и дальше пытался смеяться. Кривил в смехе рот.

— На сцене выгляжу эффектно.

— Нет. Устрашающе.

Он повернул голову, прижал щекой Евину искалеченную руку к своему плечу и поцеловал плотный белый бинт.

Молчание повисло. Музыка исчезла. Он поднял голову и проследил за взглядом Евы. Она глядела в окно. Молчала немо и тяжело. Будто никогда уже не будет говорить. Что она видела? Он знал, что она близорука. По нотам в репетиции раньше играла в очках. А в концерте — без очков. Очки ей мешали; они с нее слетали и об пол разбивались, когда она разъяренно брала громоподобные аккорды или хищно бегала руками по клавиатуре в безумных хроматических пассажах. Водопад музыки обрушился из ее мощного рояля на молчащую публику. А теперь?

На перроне стояла женщина. Ветер рвал ее легкое платье. Срывал с плеч, вил вокруг колен подол. Тощие прямые плечи. Худая спина. На гусиной длинной шее ожерелье. Нефтяные волосы ветер нагло растрепал, и она сердито заправила их за уши. Выблеск красной серьги на миг осветил, как сполох костра, смуглую щеку.

...Или очень на нее похожа. Не может быть. Никогда!

Людвиг подвинулся в вагонном кресле так, чтобы всем собой, головой, плечами, спиной заслонить от глаз Евы окно. Вместо женщины за окном Ева сейчас видела Людвигу. Только Людвигу. Только его широкое, скуластое, сердитое, испуганное лицо.

— Я закажу еще чай? — Он подмигнул ей. — И заплачу за разбитую чашку.

Она вдруг побелела, как осколки фарфора.

...Подумала небось: вот я теперь как эта чашка.

Улыбнулась через силу.

— Отрежь мне просто кусочек лимона. Без всякого чая.

Она силилась посмотреть в окно, заглянуть через голову Людвигу, стеснялась и боялась. Закусила губу.

Он слышал, слышал внутри себя испанскую гитару. Гитарные переборы. Безумный рокот.

Он глух от этого рокота, а рокот шел волнами, заслонял весь слышимый мир.

— Хорошо!

Он взял нож, схватил крепкими корявыми пальцами лимон и стал резать, кромсать, пилить. Нож мерцал, тупой и страшный.

— Не надо.

Она повела головой вбок, как больная птица. Он все понял и прикрыл тарелку, лимон и нож дорожным ярким журналом.

— Не буду!

Старался улыбнуться ей, улыбнуться широко. Не получалось.

Рот кривился, как в плаче.

...Мы как в плохой опере. В плохой.

— Лодя! А ты мне...

— Что?

— А ты мне, слушай, никогда не скажешь...

Она оборвала сама себя. Он лицом заслонял ей свет и мир. Вместо окна и вместо мира перед нею маячило, качалось только его огромное, корявое, в оспинах, лицо.

Он терпеливо ждал. Главное в жизни — уметь ждать. А разве ждать — это жить? Ждать — это же не жить. Ждать и догонять — это не жизнь. Это прозябание. Он никогда и ничего не ждал. А может, просто не умел. Вот сейчас научился. Терпеть и ждать. И он терпит и ждет. Она все молчит, зачем? Что она сейчас скажет? Страшное? Или счастливое? Самое важное? А разве самое важное говорится вслух? Самое важное только звучит. Музыкой. Поэтому они и занимаются музыкой: им жаль тратить время на неважное.

Она все силилась рассмотреть, что там за баба торчит на перроне. Прошло много времени. Или совсем мало? Оно растянулось. Оно резиновое. Нет, стальное; его вбили гвоздем в доску, теперь уже никогда не вытащишь, никакими клещами.

— Никогда не скажешь...

Он с трудом заставил себя не переспросить: что?

— Никогда... не... Я больше не люблю тебя?

— Не люблю? Тебя?

Он растерялся.

Она пояснила:

— Ну... никогда не скажешь так?

Она сказала это, как спела.

Поезд тронулся.

\* \* \*

### **Viola da gamba**

Поведи мелодию смычком. Веди, веди, не прерывай музыки.

В музыке самое главное — не останавливаться.

И — не оглядываться.

Она течет, река, вперед. Воды несет. В нее глядится народ.

Ее — переходит — вброд.

Мелодию веди, веди.

Засыпай с музыкой на груди.

Музыку свою целуй в уста.

Без музыки юдоль твоя бедна, сурова, пуста.



Мороз! Зима. Не до сна.  
Музыка меня обнимает одна.  
Музыка... Виола да гамба моя...  
Нежный ледяной край обреченного бытия.  
Нежная река. Снежная стреха.  
...Последняя. Нога. Тиха.

*(Люська и Время. Последняя песня.)*

Я умею импровизировать. Я никому не говорю.  
Я новую музыку, неслыханную, вам подарю.  
Ну слушайте, буду играть, опять и опять, я Косая Челка, тудяга-пчелка, — это рояль, дерево-сталь, бью по клавишам, мне не жаль, ничего больше не жаль, никаких деревьев, крылатых крышек, черных плашек, медных бляшек, не жаль ничего-никого, нет, вру, жаль: живых людей.

И башни, их много, не сочтешь, Красных площадей.

Виола да гамба — это я, старина, я просто пою, я играю одна, я просто голос, я просто смех, смычковый волос для тех... для всех... Не надо утех. Прочь волчий мех. За всех отмолю всеобщий грех. Виола да гамба, да, это я. Музыка, да, вся моя семья.

И больше никого. И больше ничего. Виола да гамба. Твое торжество.

А коль камни в затылок швырнут — не загину: то мой Новый, кленовый год! Люсичка, если тебе плюют в спину, значит, ты идешь вперед!

Я брошу музыку. Надо выживать, жить. Время сломалось. Негде голову сложить. Возьму метлу, лопату, буду Москву мести. Буду Москвы солдатом, ее ошметки в горсти. Вернусь к бродячему Югу, к Северу-снегу вернусь. Москвы грузовая подпруга, камень на нитке бус. Кану — на дно. Это — сыграть на органе?.. на флейточке?.. на баяне?.. да все равно.

Мы играем свое время. Парим надо всеми. Кому-то везет: он долетит до финала. А мне и горя мало. Я играю, играю, играю, опять помираю, играя, я шутя, играючи помираю, в метели сгораю, человека рожаю, зверя обнимаю, Бога нежным именем называю. Христос, Будда-Кришна, Аллах. Руки легкий взмах. Над клавишами — крыло.

Люди, бросьте. Все было-было-было. И прошло.

Это просто я. Я, я, я, я, я!

...Нет. Не я.

Крылья — на ветру — на морозе — белья.

Белые крылья, исподние.

Слышишь?!

Тише...

Господние.